

Г. Л. Олди

Я возьму сам

ГЕНРИ ЛАЙОН ОЛДИ

Я ВОЗЬМУ САМ

До каких я великих высот возношусь
И кого из владык я теперь устрашусь,

Если все на земле, если все в небесах --
Все, что создал Аллах и не создал Аллах,

Для моих устремлений -- ничтожней, бедней,
Чем любой волосок на макушке моей!

Абу-т-Тайиб аль-

Мутанабби

Есть такие призраки, что приходят между явью и сном.

“Ну что это за свинство?! -- хрипло бормочешь ты, натягивая одеяло на голову.-- Просто безобразие! Эй, вы, там,-- я вас что, для этого выдумывал? Для этого, да?! А ну живо, кыш отсюда!”

Шаги. Скрипят половицы, чужое дыхание перышком касается щеки, щекотно, щекотно... у дальней стены тихо смеются. Хрустальные колокольцы откликаются щемящим вздохам сквозняка; ты

пинаешь ногой наугад, промахиваешься и обнимаешь подушку истоиво, как обнимают желаннейшую из женщин.

На кухне звякает посуда.

Пахнет чаем: крутым, свежезаваренным... чаем пахнет.

-- Призываю в свидетели чернила,-- бормочешь ты, не ведая, что творишь,-- и перо, и написанное пером! Эй, свидетели: я сейчас встану, и никому мало не покажется! Вы слышите... вы... слышите...

Есть такие места, куда попадаешь между сном и сном.

Песок струится меж пальцами, уходя в песок; желтые крошки бытия, и белые крошки бытия, а еще, говорят, бывают черные, красные... Стойте! Куда вы?! В горсти вода -- те хрустальные колокольцы, что совсем недавно заигрывали со сквозняками, обрываются крупными каплями, и остается лишь вытереть мокрой ладонью лоб.

“Ну что это за свинство?! -- ты идешь по берегу реки, ругаясь в такт шагам всеми бранными словами, которые успело выдумать человечество за века существования; и еще добрым десятком слов, человечеству неизвестных.-- Эй, вы, там -- дадите мне выспаться, в конце концов, или нет?! На кой я выдумывал эту речку, и эту пустыню, и эти горы (что, уже горы?! м-мать!..)?! Для чьей забавы: моей или вашей?! Вот сейчас проснусь -- и всех к ногтю... всех... к ногтю...”

Ветер смеется в лицо, мелкий щебень норовит забиться в башмаки, сосны на взгорье текут смолистым ароматом, и вместо одеяла остается лишь натянуть на голову серую пелену дождя.

Шаги.

За спиной.

Ты оборачиваешься: никого.

Одни шаги.

-- Призываю в свидетели серые сумерки, и ночь, и все то, что она оживляет,-- бормочешь

ты, лишь бы заглушить проклятые шаги, лишь бы не слышать этого шарканья стертых подошв.--
Призываю в свидетели месяц, когда он нарождается, и зарю, когда она начинает алеть... призываю!
Эй, свидетели: имейте в виду, в следующий раз я напьюсь до того волшебного состояния, когда сны
шарахаются от перегара на сто поприщ! Имейте... в виду...

Есть такие слова, что начинают звучать между сном и явью.

Безумие воцаряется кругом: лепет младенца, крик страсти, вопль влюбленного ишака,
старческое бормотанье, гнусаво пришепetyвает мелкий плут, взхлеб плачет женщина, выталкивая
из себя комки отчаянья; “Да чтоб вас всех! -- надрываешься ты, не слыша собственного голоса,
ощущая лишь боль, жгучую боль в горле.-- Заткнитесь! Онемейте! Клянусь: всем языки вырву!..
всем... всем...”

Слова испуганно разбегаются, чтобы из углов тыкать в тебя пальцами.

-- Призываю в свидетели день Страшного Суда и укоряющую себя душу,-- остается лишь
воздеть руки к потолку, прекрасно понимая всю бесполезность жеста.-- Призываю в свидетели время,
начало и конец всего, ибо воистину...

-- Ибо воистину человек всегда оказывается в убытке,-- отвечают они, уходя.

Призраки, места, слова...

-- Всегда? -- спрашиваешь ты у них.

-- Нет, правда? -- спрашиваешь ты у них.

-- Пойдите! -- и они останавливаются на пороге.

Есть такая жизнь, что начинается между явью и явью.

КНИГА ПЕРВАЯ

ФАРР-ЛА-КАБИР

Во имя Творца, Единого, Безначального, да пребудет
его милость над нами! И пал Кабир белостенный, и воссел
на завоеванный престол вождь племен с предгорий Сафед-Кух,
неистовый и мятежный Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби,
чей чанг в редкие часы мира звенел, подобно мечу,
а меч в годину битв пел громко и радостно,
слагая песню смерти...

То, что гнало его в поход,
Вперед, как лошадь -- плеть,
То, что гнало его в поход,
Искать огонь и смерть,
И сеять гибель каждый раз,
Топтать чужой посев --
То было что-то выше нас,
То было выше всех.

И. Бродский.
“Баллада короля”.

КАСЫДА О НОЧНОЙ ГРОЗЕ

О гроза, гроза ночная, ты душе -- блаженство рая,
Дашь ли вспыхнуть, умирая, догорающей свечой,

Дашь ли быть самим собою, дарованьем и мольбою,
Скромностью и похвальбою, жертвою и палачом?

Не встававший на колени -- стану ль ждать чужих молений?
Не прощавший оскорблений -- буду ль гордыми прощен?!

Тот, в чьем сердце -- ад пустыни, в море бедствий не остынет,
Раскаленная гордыня служит сильному плащом.

Я любовью чернооких, упоеньем битв жестоких,
Солнцем, вставшим на востоке, безнадежно обольщен.

Только мне -- влюбленный шепот, только мне -- далекий топот,
Уходящей жизни опыт -- только мне. Кому ж еще?!

Пусть враги стенают, ибо от Багдада до Магриба
Петь душе Абу-т-Тайиба, препоясанной мечом!

Глава первая,
где излагаются сожаления по поводу ушедшей молодости,
слышится топот копыт и бряцанье клинков,
воспеваются красавицы и проклинаются певцы,
но даже единым словом не упоминается о том, что всякому
правоверному в раю будет дано для сожительства ровно
семьдесят две гурии, и это так же верно,
как ваши сомнения относительно сего.

1

Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. Словно хотела пробить первый свод, как следует тряхнув подвешенные на золотых цепях звезды, и ворваться туда, где ангелы в воплощении животных предстоят перед Всевышним за разных зверей. Туда, где бродит одиноко белоснежный петух, чей гребень касается опор неба второго -- хоть пятьсот лет пути разделяет небеса! -- и про которого сказано: “Есть три голоса, к коим Аллах всегда преклоняет свой слух: голос чтеца Корана, голос молящего о прощении и кукареканье сего петуха”. Ибо все твари земные просыпаются от его пенья (кроме человека), а прочие кочеты поют “алилуйя” тем же тоном, что и белый гигант.

Говорят, в преддверии Судного Дня смолкнет великий провозвестник зари, сложит крылья и наохлится, а следом за ним онемеют все петухи земли; и это будет знаком скорого конца мира.

Несись, рыжая, тешь себя несбыточными надеждами, пока есть еще время, пластайся в

яростной скачке над минаретами Басры и Куфы, дворцами аль-Андалуса и острова Вахат, садами Исфахана и Хуросона -- гони!..

...человек у ночного костра невесело ухмыльнулся. Поворошил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав; и в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламени -- алиф, мим, нун, син, каф... ты, гроза, гроза ночная... Заревая кобылица пока что существовала лишь в воображении человека, до бега ее оставалось не меньше трех часов, а реальность была совсем иной: костер, который пришлось разводить заново, ежеминутно поминая шайтана над сырыми дровами. Гроза промочила одежду до нитки, бурнус пришлось дважды выкручивать, и в итоге сухими остались лишь нижние шаровары из кожи, пропитанной овечьим жиром; да еще упрятанный на дно запасного выюка уккаль -- головной убор бедуинов.

Полотнище ткани и витой шнур, удерживающий покрывало на голове.

Человек еще раз усмехнулся. Уккаль подарили ему те, кто сейчас рыскал по пустыне в надежде залить пожар ненависти кровью беглеца. Смешная штука -- жизнь. Все прекрасно знают, куда влечет нас течение, и тем не менее каждый надеется, что именно его забросит в иное русло. Вчера ты грел зад на атласных подушках, а черноглазая гурия несла тебе чашу щербета или запретный плод виноградных лоз; сегодня тебя ждет дырявый ковер, вытканый еще во времена Яджуджа и Маджуджа, и вместо гурии с чашей ты вынужден довольствоваться старухой-фазариткой со щербатой плошкой, где плещется верблюжье молоко. Но пройдет день или час, и явление ангела смерти Азраила, чьи ужасные глаза отстоят друг от друга на семьдесят тысяч дневных переходов, заставит добрым словом помянуть щедрую дочь Бену Фазар -- и что с того, что ее предки после смерти пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) отпали от истинной веры, возвратятся к племенному идолу Халлялю?! Только что твой рот набивали жемчугами, превращая каждое сказанное тобой слово в блестящую бусину, но вот уже твой сладкоречивый рот, твою сокровищницу,

готовы доверху набить собачьим дерьмом, ибо сказал не то, чего ждали, и не так, как ждали! Старый мерин, кричат они вслед, крепость паскудства, дитя вони и слепоты... ты хватаешься за меч, но они разбегаются, гнушаясь честным боем, и ты остаешься один на один с обидой.

Стрелы поношений, оперенные наилучшими сравнениями, с наконечниками из самых изысканных рифм от Йемена до Моря Мрака, где плавают наводящие страх глыбы льда, падают в пустоту, не найдя цели -- о, они убегают, а “старый мерин” и без рифм звучит громче и противней ослиного рева...

Как же ты был прав, еретик и скряга Абу-ль-Атахия, чье прозвище-кунья означает “Отец Безумия”, умерший за девяносто лет до моего рождения, непревзойденный мастер жанра “зухдийят” -- стихов о бренности жизни:

-- Вернись обратно, молодость!

Зову, горюю, плачу,
свои седые волосы
подкрашиваю, прячу,
как дерево осеннее
стою, дрожу под ветром,
оплакиваю прошлое,
впустую годы трачу.

Приди хоть в гости, молодость!

Меня и не узнаешь,
седого, упустившего
последнюю удачу.

Человек собрался было усмехнуться в третий раз, но раздумал.

И правильно, в общем, поступил.

Улыбка давно не красила его, лишенного изрядной части зубов, и среди них -- двух передних. Их выбил тупым концом копья один ревнитель чести из племени Бену Кельб, столь же горячий, сколь и опрометчивый. Ведь если его сирийские прадеды действительно придерживались веры креста до того, как обратить свой слух к воззваниям пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), то почему об этом нельзя сказать вслух?! Сказать ясно и просто, не рискуя лишиться передних зубов и поспорить затем со всеми кельбитами -- о нет, не из-за их прошлого, но из-за безвременной гибели пылкого соплеменника! Ведь если не вовремя высказанная правда стоит славного удара, то заплатить ударом за удар вдвойне достойно! Возгласил же пророк Иса: “Не мир я вам принес, но меч!”, и спустя шесть веков с лишним Мухаммад, последний из пророков, повторил при многих свидетелях: “Меч есть ключ к небу и аду”.

Да, меч... Человек посмотрел на свою левую руку, до сих пор сжимавшую палку с завитком в виде буквы вав. Вместо безымянного пальца красовалась уродливая культяпка, а на среднем не хватало одной фаланги. Впрочем, палец не голова, а шрамы украшают мужчину. Вон, на шее, и еще на скуле, и еще под ключицей. Драгоценности, не рубцы! Сокровища. Так говорят сами обладатели шрамов, но с ними редко соглашаются стройные газели тринадцати лет от роду, предпочитая изрубленным ветеранам пухлощеких юношей с усиками чернее амбры. Вот ветеранам и приходится брать газелей силой, утешая себя глупыми пословицами. Пятьдесят лет -- плохой возраст для костров под ночными ливнями; особенно в тех краях, где впустую потраченная капля воды воспринимается как личное оскорбление. Давно, давно пора было остепениться, осесть где-нибудь... да хоть в том же Дар-ас-Саламе! Осесть, купить дом, восхвалять халифа и ближних его, подставляя открытый рот за жемчугом или динарами, поносить скупых, вышивая подачки острословием, вести беседы с загадочным другом, прожорливым неряхой Абу-ль-Фараджем Исфаханским, в надежде попасть в

“Книгу песен” последнего; наконец бросить воспевать дев и битвы, вспомнив о брэнности тела и вечности души...

Увы, человек никогда не считал себя мастером жанра “зухдийят”. Душа не лежала. Собственно, желание освоить этот жанр (вопреки велению сердца, зато по настоянию плешивых умников) и погнало его сперва на Шамийские равнины, а потом сюда, в пустыни Аравии или, как говаривали персы, Степь Копьеносцев. Где, если не здесь, сохранился неиспорченный язык бедуинов, язык Корана и поэтов “джахилий”?! -- тех времен, когда неистовый Мухаммад еще не родился, чтобы принести верующим слово истины.

Язык восхвалений и поношений, язык правды, язык открытого сердца.

Человек боялся признаться самому себе, что дело не только в этом. Перекати-поле -- вот кто он такой. Просто Аллах спросонья моргнул невпопад, и некий младенец в глухом селении близ Куфы родился намного позже правильного срока. Лет эдак на четыреста. Или на пятьсот. Пусть прикусят языки те, кто зовет сии благословенные дни прошлого Эрой Невежества, пусть прикусят до крови, или нет! -- пусть лучше вспомнят, чьи семь касыд, где каждое слово благоуханней мускуса, были подвешены к стенам святой Каабы! Пусть вспомнят грозного Имру уль-Кайса, прозванного Скитающимся Царем, пусть их устрасит видение чернокожего Антары, Отца Воителей, пусть остальные пятеро великих поэтов-бойцов Эры Невежества на миг скинут погребальные покровы и явятся к хулителям из скрежета зубовного или райского блаженства, где бы они сейчас ни были! Вот когда надо было родиться, вот с кем надо было ехать бок-о-бок в походе и набеге, вот с кем стоило состязаться в красноречии и остроте копья...

Где Медный город и Долина гулей, талисманы ифритов и летающие кувшины колдунов, где поединки храбрецов и красавицы-пери, смущающие сердце и похищающие рассудок... и наконец -- откуда под горбатым небосводом такое обилие серой слякоти, лишь по недоразумению судьбы именуемой сынами Адама?!

Аллах, куда ты смотришь?!

Человек вздохнул и поднял голову. Умытое грозой небо отливало у горизонта лиловым, и падающие звезды расчерчивали его вдоль и поперек, превращая в драгоценную кашмирскую парчу. Сегодня была ночь правоверных джиннов, сегодня духи, созданные из чистого огня, старались украдкой заглянуть в горние сферы, а ангелы швырялись в дерзких соглядатаев метеорами, отпугивая от запретного зрелища. Видимо, какой-то из вождей джиннов в дерзости своей сунулся дальше обычного -- ослепительная молния заставила светильники небес поблекнуть, а вместо грома донеслось рычание Ангела Мести и перезвон раскаленных цепей, грудой сваленных у подножия его престола. Свод над головой затопило овечьим молоком, потом осыпало пеплом и ржавчиной, но джинны отпрянули, рык стих, и лишь холодный порыв ветра налетел с запада.

Будто вздох бездонной пропасти.

Крохотный оазис, давший приют беглецу, вздрогнул до основания, испуганно плеснула влага в водоеме, обнесенном каменными плитами, и колючие акации зашептались, затрясли в испуге ветвями, роняя редкие капли.

Тишина.

Лишь храпят недовольно две лошади: низкорослая тихамитка, чья доля -- тяжесть вьюков, и тонконогая кобылица с белым пятном во лбу, напоминавшим звезду Сухейль.

-- Наама! -- еле слышно позвал человек.

Кобылица встрепенулась, зафыркала, и человек помахал ей рукой. Левой, искалеченной, которая до сих пор сжимала палку с завитком в виде буквы вав. Он сам дал кобылице, гордости джизакских табунов, это имя -- Наама. В честь страуса-бегуна, чьи ноги способны мерять пески так же споро, как купец меряет дареный тюк шелка; и еще в честь знаменитой кобылицы прошлого, из-за которой вожди племен спорили долго и обильно, заливая кровью окрестные земли.

Пора было собираться в путь.

Пора было сунуть голову в пасть льва.

Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. “Наама!” -- позвал кто-то снизу. Заря не обернулась, как не оборачивалась и раньше, в славные времена джахилии, времена поэтов, бойцов и безбожников, о которых тосковал ночью человек у костра.

Аль-Мутанабби Абу-т-Тайиб Ахмед ибн аль-Хусейн из племени Бану Джуф.

Что значит на языке Степи Копьеносцев, языке остром, как меч, и звонком, как меч: Выдающий-Себя-За-Пророка, Отец Всадников рода Тай, Ахмед, сын аль-Хусейна из южных арабов, рожденный близ благословенной Куфы.

А на земле полновластно царил 354-й год со времени “Бегства пророка”, или 965-й год от рождения пророка Исы, как привыкли считать люди креста.

2

“С детства ненавижу удачливых,” -- подумалось Абу-т-Тайибу, когда из-за дальнего бархана вывернул такой же одинокий, как и он сам, всадник; и клич радости огласил пески.

Поэт в досаде забыл добавить: “Но удача еще никому не мешала,” -- ибо клич вполне мог оказаться куда более многоголосым, а встретить одного преследователя несомненно лучше, чем дюжину ему подобных.

Будем спорить?

Не узнать всадника пристало лишь слепому: даже самый щеголеватый из бедуинов не станет скакать по пустыне, вырядившись женихом. Кроме разве что жениха. Того самого жениха из маленького, но гордого племени Бену Кахтан, куда Абу-т-Тайиба позавчера чуть ли не силком затащили на свадьбу. Шейхам племени было лестно присутствие на празднике знаменитого поэта,

а самым ретивым охота была проверить: сможет ли похититель столичных сердец привести в восхищение привередливых детей пустыни?

-- Мадх! -- закричали кахтаниты хором, после того как обильные дары были разложены перед гостем.-- Хвалебный мадх в честь невесты!

А одноглазый крепыш, слывший меж соплеменниками знатоком прекрасного, добавил с ехидной усмешечкой:

-- Хвалебный мадх с “серой” рифмой, как однажды пел Ибрахим Счастливец перед повелителем правоверных, мир им обоим!

Абу-т-Тайиб поднялся, не коснувшись руками ковра, с достоинством поклонился собравшимся и начал, аккомпанируя себе на чьей-то изрядно расстроенной лютне:

-- Ты горбата и зобата, и меня гнетет забота:

Если будешь ты забыта -- не моя вина, красавица!

Ты бежишь быстрее лани, ты бредешь, пуская слюни,
Предо мною на колени скоро встанешь ты, красавица!

О, бока твои отвесны, и соски твои отвислы,
Убежать смогу от вас ли, если...

В упоении “серым” мадхом, чья импровизация требовала от сочинителя всего напряжения душевных сил, Абу-т-Тайиб позорно упустил из виду, что шумные знатоки далеко не всегда являются знатоками истинными, и заказчик может быть подталкиваем скорей гонором, нежели знанием тонкостей. Ни одноглазый, ни его соплеменники, как вскоре выяснилось, и понятия не

имели о правилах стихосложения. Знай они заранее, что славное восхваление Ибрахима Счастливица начиналось с описания собачьей подстилки с целью дальнейшего противопоставления ей дворца повелителя правоверных... О, тогда бы они, разумеется, дослушали бы мадх до конца и поняли всем сердцем: их гость намеренно начал с описания верблюдицы, на которой доставили невесту к шатрам жениха, дабы оттенить сим сравнением всю прелесть девушки! Поняли бы, и не стали гневаться, и подарили бы певцу вышеупомянутую верблюдицу вместо того, чтобы ворчать и рычать яростными львами, размахивать мечами и потрясать копьями, швыряться камнями и гоняться за оскорбителем по всей пустыне, обещая сунуть его раздвоенный язык в места много худшие, нежели блюдо с мясом в уксусе!

Ах, и впрямь опасно рассыпать жемчуг перед хрюкающими!

Плащ закона гостеприимства спас Абу-т-Тайиба от немедленной расправы, но едва истек второй час после его бегства, как кахтаниты дружно ринулись в погоню. Впрочем, сперва неудача в поисках, а затем ночная гроза поохладила горячие головы (или кто-то из шейхов вспомнил-таки основы стихосложения, за что хвала создателю миров!) -- короче, лишь оскорбленный жених продолжил рыскать меж барханами и оазисами, кусая губы.

Докусался, везунчик.

Догнал.

-- О встреча, не позволившая моей желчи разлиться бурным потоком! -- заорал бедуин еще издалека, и кобылица Наама злобно откликнулась на ржание бедуинского жеребца.-- О старик, чей вид скверен, образ мерзок, а запах отвратителен! Любуйся мною, ибо пробил твой час!

Абу-т-Тайиб вздохнул и понял, что юноша в детстве пересидел у пастушьих костров, слушая “Рассказы о подвигах племени ал-Хиллял”.

Но, так или иначе, начало требовало продолжения.

-- Ты подробно описал мне своего благородного отца, о пылкий жених! -- привстав на

стременах, крикнул поэт, пытаюсь не усложнять поношений лишними сравнениями и образами; для вящего понимания.-- Ты лишь забыл добавить, что он в старости делает воздух мрачным и пространство от вонии непрозрачным! Давай же теперь вспомним твою славную мать! Правда ли, что когда она хотела золотой динар, ей давали медный фельс, а когда она просила фельс, то получала рубленый даник? И правда ли то, что когда она просила сына, то получала безродного ублюдка вроде тебя?!

После этого бедуин вместо острых слов швырнул в оскорбителя копьем, а оскорбитель, уворачиваясь, понял раз и навсегда: жанр “зухдийят”, воспевающий добродетель и осуждающий мирскую тщету, воистину недоступен для бедного поэта.

Как райские сады недоступны для хулителей веры, как чалма недоступна для безголового, как...

Вскоре досужие мысли улетучились сами собой, а жеребец араба и тонконогая Наама сшиблись, стараясь вцепиться друг другу в шею.

Легко и весело рубился жених, пьянея от самого опасного в мире хмеля, вкладывая в удары всю нерастраченную юность, весь пыл, которому следовало бы выплеснуться в невестинной палатке -- во имя рождения новой жизни, а не для истребления старой. Бой должен был стать коротким, коротким и ярким, ибо ждать -- сердце плавить, а кровь обидчика слаще воды источника Земзем, даруя если не бессмертие, то непреходящую славу. Увы, кривой машрафийский меч старика, изготовленный славными оружейниками Йемена, оказался существенно длиннее и тяжелее, чем звонкая жениховская альфанга, а сам старик-сквернослов -- существенно упрямее и опытней в поединках храбрецов, чем показалось юноше с первого взгляда. Змеи клинков плели в воздухе чудную вязь, рассыпая искры-чешуйки, немела рука бедуина, запаздывая выполнять приказы хозяина, и вот уже ядовитый поцелуй залил бедро алым ручьем, и еще, и снова, а проклятая кобыла вертелась вьюном, словно крылатая аль-Борак, что доставила пророка к престолу Аллаха; и еще, и

снова... и мнилось, поет небо над головой: “Разящие рифмы в пыли загремят, обученные сражаться -- от этих стихов головам врагов на шеях не удержаться!..”

Нет, Абу-т-Тайиб не хотел убивать глупого мальчишку. И жалость была тут совершенно ни при чем. Мало чести, а душа потом воет на луну тоскливым воем, саднит застарелой язвой, словно и не душа она вовсе, и являются из ниоткуда призраки с тусклыми бельмами, сидят рядом до самого утра, безмолвно вопрошая убийцу:

-- Зачем?

Пусть его, отлежится, опомнится, свои подберут, невеста выходит... Е рабб, в смысле “Боже мой”! Что ж ты делаешь, безумец?!

В самый последний момент жених вдруг застыл в седле каменным изваянием, рисованным красавцем-идолом, запретным для истинно верующих; изрядно выщербленная боем альфанга остановилась на полувзмахе -- и клинок Абу-т-Тайиба не удержал разбега. Когда голова жениха отделялась от шеи, умирающие глаза все еще смотрели куда-то за спину поэта, смотрели пристально, испуганно, будто увидев рогатого ифрита или святого бродягу Хызра; но кто в наши времена поддается на дешевые уловки? Поэт благоразумно дождался, пока безглавое тело упадет в песок, и лишь потом обернулся, заранее зная, что не увидит ничего особенного.

Он и не увидел ничего.

На пустыню рушился самум.

Непроглядная чернота задрала подол небу, и насилие свершилось.

3

“Кто я... о-о-о, скажите мне, кто я?!”

“Выдающий-Себя-За-Пророка, Отец Всадников рода Тай; маленький Ахмед, глупый сын аль-

Хусейна, ветвь от пальмы гордых арабов юга...”

“Где я?! Где я, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби?!”

Нет ответа.

Лишь хихикает меленько насмешник-невидимка: “В преддверии ада, дружище -- а хуже места и не сыскать, хоть век ищи!”

Тьма обступает, морочит, приникает постылой женою, на зубах хрустит песок, а где-то неподалеку капли воды долбят темя вечности: алиф, мим, нун, син, каф... ты, гроза, гроза ночная...

Капли?

Воды?!

Встать на ноги труднее, чем пешком дойти до легендарной горы Каф, и поначалу приходится двигаться на четвереньках, по-собачьи, в кровь обдирая колени, а потом уже, когда боль становится обжигающим кнутом, рывком подымать себя и, выплевывая хриплый стон, тащиться в темноту, невозможную, небывалую темноту, где пахнет сыростью, а капли не смолкают, бубнят речитативом: алиф, мим...

Надо было идти.

Глава вторая,

которая есть наилучшая в нашем повествовании,
ибо здесь говорится о безвременной кончине владык
и трудностях, связанных с наследованием трона,
о моргающих глазах мира и долинах гулей-людоедов,
но даже краешком не приоткрывается завеса над тайной
древнего храма Сарта-Ожидающего,
да сохранит его Аллах и приветствует!

Суришар с ленивым интересом наблюдал за приготовлениями жрецов-хирбедов, вызвавшихся служить проводниками. Перевал как перевал, родной брат предыдущего и двоюродный того, что они миновали три дня назад -- морщинистые, изъязвленные ветрами скалы, сквозь которые упрямо ползет змея горной тропы, накручивая кольца: вверх-вниз, вверх-вниз...

В общем, будущий шах совершенно не понимал: зачем хирбедам понадобилось останавливаться именно здесь и с головой погружаться в таинства явно бессмысленного обряда? Подготовка затягивалась, на шее удавкой палача, грозя если не смертью, то смертельной скукой; и вскоре ожидание вдоль и поперек изгрызло печень нетерпеливому Суришару. Даже учитывая, что сейчас его взгляд настойчиво ласкал молоденькую жрицу Нахид. Увы! -- будь сей взгляд стократ пламенней, и то остыл бы, расплескавшись по ледяной броне невозмутимости прекрасной хирбеди. Девушка была всецело поглощена разведением ритуального огня на жаровенке-алтаре, установленной поперек дороги, и не обращала на наследника престола никакого внимания.

Впрочем, точно так же она вела себя и в течение всего пути, чем дальше, тем больше раздражая молодого человека. Суришар ценил себя весьма высоко, и не без оснований: знатен, юн, красив, остроумен... что еще? Стихи -- как из рога изобилия! Вот, к примеру:

-- Прости, красавица, и не вини поэта,
Что он любовь твою подробно описал!
Пусть то, о чем писал, не испытал он сам --
Поверь, он мысленно присутствовал при этом!

Ну?! Где славословия?! Где восторги равных и пресмыкание низших?! Все нам по плечу, хоть слово, хоть меч... кстати, о мечях! На ристалище или на скачках приз получить -- и тут он один из первых в столице! Отвага? Презрение к опасности? Ха! Кто еще из возможных наследников решился на Испытание, вышел на дорогу, которую должен пройти будущий владыка Кабира? Да никто, кроме него! И быть ему вскорости шахом, а эти унылолицы пусть прозябают...

Женщины от таких молодцов должны быть без ума. И были без ума. И будут. За исключением Нахид-хирбеди. Разумеется, подобное равнодушие “небоглазой” жрицы (а ведь действительно: глаза у девицы -- голубые и пронзительные, как небо в горах!) выводило будущего шаха из себя.

Тем более, что обета безбрачия жрицы не давали. Сыщется достойный жених -- и ладно... а сказок про блудливых хирбеди хоть пруд пруди!

“Ничего, дай срок, гордячка! Вот сяду на престол -- возьму в жены. Или лучше в наложницы. Шаху не отказывают,-- злорадно думал юноша, лаская яростным взглядом по-звериному изогнувшуюся фигурку жрицы, что припала к алтарю.-- А мольбы Огню Небесному пусть плешивые мудрецы возносят!.. кто на них, кроме Огня, позарится?” -- он покосился на хирбеда, бродившего вокруг Нахид и алтаря с невнятным бормотаньем.

Вот этот жрец был правильный: долговязый старец, отменно седой и морщинистый, в плаще шафранового цвета, надетом по случаю обряда поверх изрядно сношенной рясы. Общую благообразность слегка портила бородавка на верхней губе -- раздвинув усы, проклятая нагло вылезала, подставляя бока для всеобщего обозрения и топырясь тремя иссиня-черными волосками, росшими из нее...

Словно почувствовав взгляд Суришара, старец вдруг остановился, коротко взглянул на шахзаде, но ничего не сказал и продолжил свое бесконечное хождение по кругу.

Седой хирбед тоже был “небоглазым”, только в его запавших глазницах плескалась не безумная горная синь, а блеклое небо пустыни.

“Так, наверное, и должно быть,” -- невпопад подумалось шах-заде; и он сам удивился такому странному итогу.

Огонь мало-помалу разгорался, обратив слух, наконец, к уговорам молодой хирбеди, старец без устали наворачивал круг за кругом, бормоча себе под нос свое “хирам, хирам, кирам, пирам” -- молитвы? заклинания? просто какую-то ерунду? -- и Суришару уже начало казаться, что так было всегда, от сотворения мира, и они торчат на этом перевале уже целую вечность, и будут торчать еще вечность, до скончания времен, и хирам, и пирам, и еще кирам...

-- Вставай, шах-заде. Можно ехать.

-- А до этого нельзя было? -- не удержался Суришар, стряхивая оцепенение и с трудом поднимаясь на ноги.

В колени словно песка насыпали.

-- Можно. Но не нужно. И прошу тебя: держись строго между нами.

Юноша презрительно фыркнул, подражая собственному жеребцу, но спорить не стал: как раз в этом месте тропа была достаточно широкой, чтобы по ней бок-о-бок могли проехать трое конных. Раз жрец говорит “надо” -- значит, надо. Вот только -- зачем? Спросить? Суришар ловко вскочил в седло, подбоченился и с некоторым удивлением обнаружил, что и старик, и девушка опередили его. Святые покровители! -- оба сидят верхом. А вся поклажа собрана и приторочена к седлам. И когда успели? Сон его сморил, что ли?..

Что-то здесь было не так. Несуразица комом стояла в горле, насмехалась шорохом малой осыпи, горькой оскоминой плыла в воздухе, от которой хотелось закричать во все горло... а тут еще хирбед с хирбеди буквально зажали его коня с двух сторон своими лошадьми. Шах-заде вновь помянул святых покровителей и машинально проверил: легко ли выходит из ножен сабля? Мало ли. Хотя в такой тесноте и не развернешься для хорошего удара...

-- Драться не придется, шах-заде,-- в холоде голоса Нахид явственно сквозила легкая

насмешка.-- Оставь саблю в покое и всего лишь держись между нами. В этом месте очень легко заблудиться.

“Да за кого она меня держит, эта гордячка?!” Однако вслух юноша ничего не сказал: пререкаться с женщиной, пусть даже трижды “небоглазой” -- ниже достоинства наследника шахского рода!

Тем паче заблудиться на одной-разъединственной тропе в горах, при полном отсутствии развилок... ладно, промолчим!

Старец сухо щелкнул пальцами, будто уличный лицедей-мутриб -- кастаньетами; и кони, как если бы только этого и ждали, шагом тронулись с места. Они шли голова в голову, мерно бряцая серебром уздечек, будто на время превратились в единое существо, и Суришар невольно задумался: а что еще может этот немногословный старик с лающим именем Гургин?

Кроме как бормотать и пальцами щелкать...

В следующее мгновение мир вокруг МИГНУЛ. Другое слово подобрать было трудно, да и не стоило его подбирать, это слово, ни другое, ни третье, как не нужно пальцами сбрасывать набежавшую слезу -- веки сошлись, разошлись, словно встретились века, дрогнув ресницами-днями; миг сменился мигом, и вот -- жизнь вроде бы прежняя, но без слезы, застывшей взор.

И без соринки, что вызвала слезу.

Шах-заде ошарашенно заморгал в ответ, затряс головой, не веря своим глазам. Те же горы, то же небо -- вот только внизу, в долине, что открылась по правую руку от путников, возник город! Суришар готов был поклясться: до того, как миру вздумалось мигать, никакого города внизу не было! Да и долины не было. Или все-таки была?..

Лишь сейчас он заметил, что кони уже не держат строй, тропа распухла от сознания собственной значимости, превратившись в довольно торную дорогу, а ладонь самого Суришара крайне глупо закаменела на сабельной рукояти.

-- Не беспокойся, шах-заде,-- буднично сообщил Гургин, почесывая бородавку.-- Осталось совсем немного. К вечеру доберемся до места.

Прозрачное небо опрокинулось само в себя, плотно облегая тропу и всадников на ней; пестрая крупинка ястреба металась в голубизне, оглашая простор хриплым клекотом, и мелкие камни переговаривались друг с другом под копытами.

У наследника престола было много вопросов к проводникам, но юноша прикусил язык: стыдно уподобляться молокососу-несмышленишу, донимающему взрослых глупой болтовней. Поэтому Суришар осведомился лишь с показным безразличием:

-- Что это за город, Гургин? Харза? Кимена? Медный город?

Последнее Суришар добавил с явной подковыркой: в Медный город попадали исключительно доблестные витязи, исключительно при помощи колдунов с бородавками где ни попадя и исключительно в сопровождении прекрасных девиц.

Гургин кивнул с абсолютным равнодушием.

-- Проницательность шах-заде не имеет пределов. Это именно Медный город. Впрочем, на самом деле он медный не более, чем любой другой. И названия у него нет.

-- Как это -- нет? -- опешил юноша.-- Но ведь хотя бы его жители как-то называют свою родину?

-- Называют,-- во второй раз кивнул хирбед.-- Просто Город. Город -- и все.

2

Наследник престола честно сдерживался почти час. Потом его прорвало, и сквозь разрушенную плотину выдержки и напускного безразличия хлынул мутный поток вопросов.

-- Мы заедем в Медный город, Гургин?

-- Заедем, шах-заде. Или не заедем. Если да -- то на обратном пути. Если нет -- то тоже на обратном. Сначала ты должен пройти Испытание.

-- А что это вообще за горы? Ты бывал здесь?

-- Бывал. И Нахид бывала. А кличут их по-разному.-- Суришар обратил внимание, что после странного перевала старик стал куда более разговорчивым.-- Жители Города вообще лишних имен не любят. Просто -- горы. Других-то все равно поблизости нет. Местные горцы... ну, тут история особая. Для них гор просто так не бывает, для них горы -- это весь мир, а мир целиком и без названия проживет. Разве что части... Вон та вершина, в дымке -- Тау-Кешт, за ней Ырташ-ата; а перевал, на котором ты скучал и поминал старого дурака тихим помином -- перевал Баррах. Хочешь -- запоминай, не хочешь -- выбрось из головы.

-- Гургин, а как ты сам здешние места зовешь? Тоже -- просто горы?!

-- Фарр-ла-Кабир,-- отрезал хирбед, поджав губы, и веселый шах-заде осекся.

Словно подзатыльник схлопотал.

Именно здесь, в этих горах без названия, из века в век решалась судьба будущих шахов Кабира. Наследники рода, претенденты на престол и шахский фарр всякий раз гурьбой отправлялись сюда в сопровождении жрецов Огня Небесного -- а возвращался из взыскующих славы лишь один. Шах. Куда девались остальные -- никто не знал. Впрочем, хирбеды, наверное, знали. Они-то всегда возвращались в целостности и сохранности!.. знали, но молчали.

Однако Суришару подобная участь не грозила. Дивное дело! -- на сей раз он оказался единственным, кто отважился пройти Испытание. Значит, исход однозначен.

Шахом станет он.

А вот известие, что юная Нахид уже бывала в здешних местах, оказалось для шах-заде новостью. Когда это она успела? И -- зачем? Похоже, “небоглазые” скрывают ото всех целые сундуки тайн, отнюдь не стремясь посвящать в них даже великих правителей Кабира-белостенного!.. Ничего,

когда он примерит шахский кулах и перстень-печать, он заставит их развязать языки. Щелкая пальцами или не щелкая -- заставит. Всему свое время: и время это уже не за горами. Вернее, как раз за горами! -- притаилось в логове, куда они сейчас направляются.

Ждет.

Эй, время, слышишь? -- ты дождешься!

Я иду!

“Ду-у-у-у...” -- откликнулось эхо прямо в сознании шах-заде, не размениваясь на прогулки меж скалами, и юноша вслушался в самого себя: кто это там насмешничает?

-- Ты никогда не рассказывал мне, в чем состоит Испытание, “небоглазый”,-- вновь заговорил Суришар спустя полчаса.-- Здесь водятся гули-людоеды? Дэвы? Горные великаны? Я должен буду сразиться с ними?

-- Водятся,-- охотно согласился старый хирбед, а бородавке досталась новая доля почесываний.-- В изобилии.

В ответ послышалось лошадиное фырканье, и до будущего шаха не сразу дошло, что это Нахид весьма удачно передразнила его самого. Еще и издевается, девчонка! Ох, дойдут у меня руки, дотянутся, почешут, где чешется!..

Однако, когда юноша скосился на едущую рядом жрицу, вид красавицы-хирбеди был совершенно серьезен.

-- Вон за Тау-Кешт,-- пальчик Нахид указал на вершину в чалме сизых облаков,-- живут хмурые горные великаны. Очень хмурые и очень горные.

-- Но мы туда не поедem,-- не преминул добавить Гургин, хмурясь почище старейшины всех на свете великанов.

-- А долина, куда можно выйти через ущелье по левую руку -- владения гулей-людоедов. Там хранится их боевой петух -- чьи перья острее копий, а кукареканье заставляет воинов ходить под

себя, словно малых детей и впавших в детство патриархов...

-- Но туда мы тоже не поедем,-- снова уточнил хирбед. Видимо, на всякий случай.

У Суришара начало складываться впечатление, что эта парочка вполне могла бы зарабатывать кучу динаров, теща своими байками чернь на площадях.

-- Наискосок от Тау-Кешт, и на треть фарсанга ближе к Городу, расположен древний храм Сарта-Ожидającego. Иногда там ночуют странные люди, чтобы выйти наружу еще более странными. Или не выйти совсем.

-- Сарт-Ожидающий? -- с интересом переспросил юноша.-- Я никогда не слышал о таком боге. Кто он?

-- Он не бог. Он -- Сарт. Он ждет; и ждет не нас,-- резко бросил жрец, скривившись, словно в рот ему попала пригоршня зерен горького колоквинта, сулящего несчастье глупому едоку.-- И туда мы уж точно не поедем. Испытание -- не самоубийство; вернее, далеко не всегда самоубийство. Потерпи, шах-заде. Умерь горячность. Осталось недолго.

После такого ответа у Суришара напрочь пропало желание пускаться в дальнейшие расспросы, и они продолжили путь в молчании.

3

...Суришар сидел перед входом в пещеру и время от времени бросал взгляд на клонящееся к закату солнце, ожидая, когда Огонь Небесный утонет в складках чалмы Тау-Кешт. Именно в этот момент он, наследник престола, должен будет войти в шершавый сумрак входа, который поглотит его... надолго ли?

Этого шах-заде не знал.

Сейчас юноша был один: Гургин и Нахид ушли, уведя с собой всех трех лошадей и

предупредив, что будут ждать шах-заде у выхода. Ему надо просто пройти через пещеру насквозь и выбраться к ожидающим его спутникам. Только и всего. В этом заключалось Испытание.

“Только и всего!” -- мысленно предразнил юную хирбеди Суришар. Без факела тащиться через мутную сырость, где просто обязан поджидать неизвестно кто или что! Сидит, небось, во мраке, тварь безымянная, потирает клешни, слюну меж клыков пускает -- желтую такую, тягучую... Только и всего! Правда, старый хирбед клялся, что в пещере отродясь не водилось никаких страхолюдин, кроме темноты -- но ведь всякий раз с Испытания возвращался лишь один претендент на трон и фарр! Куда девались остальные? Темнота убаякала?! Даже если пещера и впрямь пуста, как торба нищего (шах-заде отнюдь не был трусом, но ему очень хотелось верить Гургину), то во мраке вполне можно заблудиться и сгинуть, так и не найдя выхода. Ждите, “небоглазые”! Авось, дождетесь... Суришар справедливо полагал, что внутри пещеры должен крыться некий лабиринт -- иначе велико ли испытание: пройти по прямой от входа до выхода?!

Нет, на подобное везение он даже не надеялся.

Впрочем, все теперь в руках Судьбы -- а еще не было случая, чтобы Судьба отвернулась ото ВСЕХ претендентов, и шахский престол опустел! А раз так, раз претендент один, как одно солнце в небе, значит, Судьба сама за руку проведет его по всем лабиринтам мира -- к будущей славе и величию! Иначе просто и быть не может!

Придя к подобному заключению, Суришар малость приободрился, и мысли шах-заде игриво свернули в другое русло, уводя в сторону от предстоящего Испытания.

Только сейчас до юноши начало доходить, сколь завидная доля ему уготована. Когда скоропостижно скончался его прадед, шах Кей-Кобад, донельзя удивив этим знать и простолудинов, в столице (да, похоже, и во всем Кабирском шахстве) почти месяц царили растерянность и тихое смятение. Впору до дыр зачесать затылки: шах уходит к праотцам, не достигнув и двухвекового рубежа?! Ведь даже сельскому дурачку известно, каков срок жизни великих шахов, обладателей

священного фарра, а если верить преданиям старины, так и вовсе впору развести руками! Умереть в сто семьдесят девять лет, в самом расцвете сил...

О Кей-Кобад!

Поговаривали об отравлении или ином тайном умерщвлении, но слуханное ли это дело -- поднять руку на носителя фарра?! Вовек не бывало! И, тем не менее...

Официальное заключение придворных лекарей-хабибов и верховных хирбедов было: смерть от внезапно наступившей преждевременной старости. Ха! Поверить в такую нелепицу?! Однако вслух объявить лжецами ученых хабибов и мудрых жрецов никто не решился. Через месяц волнения улеглись, траур продолжился, но траур трауром, а престол -- престолом.

Кто унаследует трон и фарр?

Кто?!

Родственников у покойного шаха оказалось порядочно, несмотря на раннюю кончину: дряхлые младшие сыновья (старшие давным-давно перешли в лучший из миров, ибо, в отличие от шаха, жили обычные земные сроки), племянники, внуки, правнуки...

Суришар был одним из многих. И даже не самым близким. Но, видимо, молодой шах-заде чем-то выделялся среди толпы возможных претендентов на трон, поскольку однажды рядом с ним остановился один из верховных хирбедов -- все тот же Гургин -- и загадочно осведомился: “Не зябло ли стоять в тени фарра, шах-заде?”.

Ответить или просто переспросить юноша не успел: хирбед исчез быстрее змеи, когда та стремится во мрак норы.

И вскоре выяснилось, что претенденты, один за другим, отказались испытывать судьбу. По собственной воле. В здравом уме и трезвой памяти. В итоге осталось двое: Суришар и его двоюродный дядя Лухрасп, тридцатипятилетний силач и гуляка, который не собирался отступать. Не умел. “Испытание? Отлично! -- во всеуслышание заявил Лухрасп, подкручивая ус.-- Я чувствую

в себе силы достойно продолжить дело Кей-Кобада!” И через три дня силач слег в горячке: родичи даже испугались, что последнее дело шаха, то бишь безвременная смерть, и впрямь будет продолжено бахвалом. Придворные хабибы клялись, что непременно поставят Лухраспа на ноги -- но не раньше, чем через месяц. А к Испытанию он будет готов... ну, скажем, месяца через три-четыре... Для круглого счета, через полгода. А время подгоняло. Смутная пора междувластья затягивалась, дела в стране шли наперекос, жалобы на самоуправство наместников текли в столицу грязным потоком, дихкане роптали, пряча зерно в потайных ямах, благопристойные горожане без причины ударялись в хмельной загул, ремесленники бездельничали, стражники несли службу спустя рукава и не очень-то торопились ловить расплодившихся сверх всякой меры разбойных людишек...

Народу нужен был шах. Опора и символ государства. Земной бог, чей фARR олицетворяет сам Огонь Небесный, сошедший на грешную землю, дабы согреть и осветить заблудшие души детей своих.

Ждать выздоровления Лухраспа было смерти подобно. Особенно в свете новостей о набегах кочевников-хургов на рубежах с вечно голодной Харзой. Надо сказать, что Суришар ничего не имел против -- и когда к нему заявили хирбеды с вопросом о дне Испытания, ответил коротко, как и подобает человеку решительному, будущему правителю великой державы: “Выезжаем завтра”.

Ответ шах-заде явно понравился Гургину; хотя сам юноша предпочел бы нравиться упрямой хирбеди.

И вот теперь...

Очнувшись от раздумий, Суришар воздел очи к небу, налившемуся лиловой глубиной -- и увидел, как диск светила тонет в пуховой млечности.

Пора.

Надо было идти.

Глава третья,
в которой повествуется об ангелах и праведных размышлениях,
о ястребах и кровниках, пиве и сыре, но ни слова не
говорится о мосте аль-Серат, перекинутом через пучину геенны
и тонком, как лезвие дамасской сабли, по которому верные души
пройдут в лучезарном свете, а грешники -- наощупь, во тьме.

1

Светящийся провал возник впереди сразу, рывком, словно огненная кисть начертала его на скрижалях кромешной тьмы; и Абу-т-Тайиб со стоном зажмурился. Еще и ладонями прикрылся, для верности. Впору было кощунствовать: минуту (час? день? год?!) назад он богохульственно мечтал о способности рассеять темноту властным окриком: “Да будет свет!”. Домечтался, еретик. Вот сейчас уберешь ладони, заставишь веки разойтись -- и дождешься мрака, одного мрака и ничего, кроме мрака, где пахнет сырой землей, и еще отчего-то мокрым войлоком.

На веки вечные.

Омин.

Поэт стоял, дожидаясь, пока сердце прекратит колотиться безумным узником о двери своей тюрьмы, и заставлял себя не думать о случившемся. Не ждать удачи, не надеяться на лучшее и не спешить к плодам бытия. Такому способу хладнокровно принимать беды и напасти его обучил один шакирит из страны Хинд, которую предки поэта еще триста лет тому назад растоптали копытами своих коней. Вместе со всей воинской силой шакиритов -- сами они звали себя труднопроизносимым словом “кшатрии”, и очень плохо соглашались принимать ислам. Настолько плохо, что, даже

согласившись, частенько обзывали пророка Мухаммада (да сохранит его Аллах и приветствует!) девятым воплощением какого-то четырехрукого идола.

Но предки предками, вера верой, а потомки давнишних врагов мирно встречались в благословенном Дар-ас-Саламе, и чубатый шакирит делился с бритоголовым поэтом многими тайнами. В частности, умением отрешиться от земного перед пучиной битвы и океаном волнений. Это умение передавалось в шакиритском роду еще со времен их легендарного родича, колесничного витязя ар-Джунана ибн-Панду умм Притха. Тот, говорят, был мастером самоуспокоения: прадеда застрелил, двоюродных братьев топтал, как саранчу, учителей с наставниками к ногтю прибирал чище вшей, а сердцем до конца дней своих был кроток и незлобив.

Великий человек, хоть и гяур неверный.

2

Абу-т-Тайиб краем глаза глянул меж решеткой пальцев: нет, светящийся провал никуда не делся. Слепит, манит. Чем манишь, свет? -- надеждой?! Глупо. Какая надежда у того, чьей могилой стал песчаный бархан, насыпанный самумом поверх четырех трупов -- двух конских и двух человеческих? И по каким пещерам ты бродишь сейчас, ревнивый бедуин, жених-неудачник, в злую годину решив потешиться “серым” мадхом?!

Поэт вздохнул и побрел вперед.

Сперва вслепую.

Потом опустил руки.

Потом открыл глаза и обнаружил на фоне светлого пятна две черные фигуры. Ну конечно! -- темные ангелы-допросчики, ужасающие Мункар и Накир, соединяющие погибшую душу с былым телом для последнего дознания. Мертвецу велят встать -- а он, Абу-т-Тайиб, разве не стоит

сейчас, что ли? -- и опрашивают с усердием о единстве Божиим и о земных делах. Если ответы удовлетворяют темных ангелов, то тело остается в покое, а дух правоверного тихо ждет у могилы Судного дня; если же нет -- ангелы лупят бедолагу железными палками по лбу, а душу выдергивают с адскими мучениями, словно косорукий цирюльник -- гнилой зуб.

Да и тот после на поверку оказывается здоровым.

В предвкушении железных палок Абу-т-Тайиб выбрался наружу и замер, глядя в сторону. Дабы не оскорбить ангелов. И достоинство так сохранить легче: смотри себе мимо и думай о возвышенном... об аде, например. О третьем его круге, где сейчас вопиет слезно умник-шакирит, проклиная своего предка ар-Джунана за дурацкие способы самоуспокоения. Или о круге седьмом, где сидят лицемеры, пропускавшие час молитвы дневной или вечерней, сочинявшие еретические стишки и в дерзости своей восстававшие на справедливость господ мира...

Да одна строка “все, что создал Аллах и не создал Аллах...” вполне заслуживает, чтобы ждать Дня Суда в потаенных недрах земли, а потом свалиться в серный мрак геенны без надежды на прощение!

Крик ястреба спугнул грустные размышления. Поэт покосился в сторону и рассмотрел в сини небес пернатого хищника. Вот он сложил крылья, свинцовым диском, брошенным с крыши умелым ловкачом, рухнул в бездну -- чтобы мигом позже вновь явиться в просторе и огласить его негодующим воплем. Упустил добычу? Эх, ястреб, тебя вот никто не станет бить железными палками по лбу... От свежего воздуха слабо кружилась голова. Абу-т-Тайиб еще немного подумал о ястребах и ангелах, даже сложил машинально пару бейтов:

-- Я стою, уставясь в небо, всей душой мечтая: мне бы,
словно ястреб, словно небыль, птицей мчаться в небесах!

Но не птица я, не ястреб... Судный День! -- коль грянул час

твой, почему усердной пастве крыльев не ссудил Аллах?!

Бейты вышли странными. До озноба; до неуместной ломоты в костях. Поэт вздохнул и стал разглядывать горы, сурово молчавшие вокруг, размотанную чалму дороги, низкорослые деревья на склонах; после чего решил и перевел взгляд на ангелов.

Спорят, посланцы.

О чем?

Темный Мункар до ужаса напоминал старца-огнепоклонника, с которым Абу-т-Тайиб однажды познакомился в своих странствиях, пересекая окрестности Гундешапуре. Тот маг в оранжевом плаще еще, помнится... шайтан побери! И плащ точно такой же! И бородавка... только у гундешапурского мага она была на щеке. Точно, искушение перед допросом. Иначе чем объяснить, что второй ангел, грозный Накир, как одна песчинка на другую, походил на юную красотку из веселого квартала ан-Римейн, в чьих объятиях поэт не раз забывал о времени поста и покаяния! Ясно, железные палки обеспечены. А вокруг, наверное, лежит промежуточная страна аль-Араф: место меж адом и раем, лишненное покоя и блаженства, предназначенное для младенцев, лунатиков, идолов и существ, не сделавших никому ни добра, ни зла -- а также для тех, чьи прегрешения уравниваются рождением в богобоязненной семье и молитвами матери. Ох, куковать тут с ястребами... и утешаться тем, что унылая аль-Араф для обитателей ада кажется раем.

Впрочем, для обитателей рая все выглядит совсем иначе, и тогда утешаться уже нечем.

-- Замолчи! -- вдруг выкрикнул Мункар-старец, и полы его плаща всплеснули гривой кобылицы, что еще совсем недавно неслась в небо над живым поэтом.-- Замолчи, дерзкая! Не я ли учитель твой?! Не я ли делал из сельской дурочки “небоглазую” хирбеди?! Он вышел из пещеры, и впереди его бежал Златой Овен! Чело его являет нам все признаки величия фарр-ла-Кабир, и блеску юного шах-заде далеко до этого невыносимого сияния! Замолчи, или кровь твоя станет дозволена

мне!

Слушая гневную тираду, Абу-т-Тайиб принялся размышлять: отчего бы это темному ангелу вздумалось разговаривать на языке пехлеви? Сам поэт неплохо владел и пехлевийским, и новым фарси-дари, на котором даже пытался сочинять, подражая великому Абу Абдулло Рудаки -- сладкоречивого слепца убили ревнители веры в тот день, когда самому поэту исполнилось ровно двадцать шесть лет. Так что понять ангела было проще простого... но ангелы, пожалуй, должны все-таки изъясняться священным языком Корана! Или не должны? Или ангелам вообще все равно, какие слова слетают с их языков, отточенных подобно самхарийским копьям?

-- Я склоняюсь перед волей наставника,-- ответил прекрасный Накир, но в звонком ангельском голосе явственно звучали кимвалы противоречия.-- И тем не менее, полагаю, что мы должны либо обождать появления шах-заде Суришара, либо вернуться ко входу, либо...

-- Либо! -- передразнил старец.-- Вернуться и ждать грозы с ясного неба! -- когда тебе, глупой, отлично известно: ждать больше нечего!

И, не дожидаясь очередного возражения, он бухнулся в ноги поэту, потрясенному столь неуместным поведением ангела.

Тут настал такой момент, когда мысли сами собой проясняются, а сердце успокаивается и бьется ровно-ровно, хотя причин для ровного биения нет ни одной, и даже наоборот. Абу-т-Тайиб оглядел самого себя с ног до головы, оценил превосходную изорванность одежды и наилучшую грязь, щедро украсившую ткань и плоть; после чего строжайшим образом запретил себе валять дурака. Даже ради спасения рассудка. Потому что если долго строить из себя юродивого дервиша, то недолго и всерьез повредиться умом, нацепив власяницу и подражая в неистовости танца суфиям-бродягам.

Хватит.

Судьбе угодно пошутить? -- рассмеемся в ответ и пойдем по новой дороге.

А рассуждения об аде и рае оставим для более подходящего случая. Ты сам мечтал о завидной доле и потрясающей участи, ты ссорился с великими и малыми, называя жизнь серой дерюгой, а жизнью -- отголоски легенд и сказаний?! Ты убивал и рисковал быть убитым, ты пел и внимал пению; ты ждал, ждал... Радуйся! -- кажется, ты получил, что хотел, и теперь можешь вволю разочаровываться, обладая желанным.

Считай, что игривые джиннии забросили тебя за гору Каф.

Много ли это меняет, кроме места действия?

-- Подними себя, мой ангел! -- поэт наклонился и ухватил старца под мышки.-- Иначе из уважения моих седин к твоим я буду вынужден прилечь рядом, а это оскорбит твою достойную спутницу, ибо грех мужчинам возлежать бок-о-бок в присутствии белогрудых красавиц! Ну давай, давай, подымайся...

Старец встал с неожиданной легкостью и, отойдя на шаг назад, в пояс поклонился Абу-г-Тайибу.

-- Кони ждут, о мой владыка! -- коротко заявил он, не снизойдя до объяснений.-- Нам пора отправляться домой, в Кабир.

-- Ты уверен? -- поинтересовался поэт, удивляясь не столько приглашению вернуться туда, где он никогда не бывал, сколько тому, что у него после удивительных злоключений ничего не болит.-- Тем более, что слово "домой" для меня мало что значило раньше... э-э-э... я имею в виду, при жизни; а теперь и вовсе ничего не значит. Не лучше ли вам отправиться своим путем, а мне -- своим? И посмотрим, каковы здесь дороги!

"А заодно посмотрим, не ведет ли одна из них в Дар-ас-Салам, где я теперь уж наверняка куплю дом и раскрою рот в ожидании подачек!" -- едва не добавил он.

-- Ничуть не лучше, о мой владыка! Ибо тебя ждет трон и шахский титул, а нас -- высокая честь помазания тебя на шахство!

Абу-т-Тайибрасхохотался, судовлетворением слыша, как здоровое веселье окончательно вымывает из смеха визгливые нотки истерии.

Это было восхитительно: еще недавно он с тоской вспоминал о славных временах джахилии, когда невозможное было возможным, а слава ждала за поворотом ближайшей дороги... Увы, возраст и опыт мешали до конца поверить в сказку, когда она встала на пороге и воскликнула: “Салам!”. Не зря же историк аль-Масуди и библиограф ан-Надим, собутыльники, каких мало, и умницы, каких еще меньше, с пренебрежением отзывались о собрании сказок “Тысяча ночей”, говоря, что оно составлено “нудно и жидко, подобно калу объевшейся собаки”.

И вдобавок сказители слишком часто возвещают: “Он рубил головы, будто шары, а отсеченные руки летели сухими листьями в пору листопада!” -- но горе, если “он” это не ты, а ты... короче, ясно.

Не отвечая, Абу-т-Тайиб пересек дорогу и встал над обрывом.

-- Вон на той вершине, смею полагать,-- под ногами беззвучно смеялась пропасть, а за спиной сопел старец, которому если чего и не хватало, так это летающего кувшина,-- живут хмурые горные великаны. Полагаю также, что поклоняются они барану, вскормленному миндалем, фисташками и чистым конопляным семенем; а пришельцев они поедают сырыми, кроме милых дев, предназначенных для услаждения божественного барана. Не так ли, мой дорогой старец?

-- Мудрость владыки глубже морских пучин! -- сдавленно донеслось из-за спины.

-- Не то слово, о светоч разума, не то слово... Полагаю также, что минуя дальше ущелье, мы попадем в долину гулей-людоедов, которых больше, чем звезд в небе, и нрав у них хуже, нежели у голодного барса! И едят они путников, начиная с печени, ибо таков их обычай!

-- Ты... откуда ты знаешь?! -- голос упрямой красавицы, до того звонкий, словно литой кувшин, дал трещину.

-- От верблюда,-- усмехнулся Абу-т-Тайиб, нарочно глянув на красавицу через левое плечо,

чтобы та как следует разглядела шрам на скуле и щербатую усмешку.-- Есть один такой верблюд во владении Бену Кахтан, о чьей верблюдице я невовремя решил сложить стихи... Он мне и поведал о горных великанах и диких гулях, в чьи уголья мы наверняка не поедем. Потому что я достаточно взрослый, дабы иметь свое суждение относительно героических поездок.

-- Мы поедем в Медный город,-- вмешался старец-маг, и в хриплом голосе его звучала абсолютная уверенность.-- Чтобы завтра отправиться домой. Где владыку ждет шахский венец и поклонение народа. Нахид, веди лошадей!

-- Ты не похож на ангела, мой ангел,-- искалеченная ладонь поэта огладила бороду, где соли давно было больше, чем перца.-- А теперь взгляни на меня и скажи: похож ли я, беспутный бродяга, которого самум и шутки Иблиса затащили невесть куда -- похож ли я на наследника шахского венца? На юношу, подобного свежемому курдюку или динару в фарфоровой миске, чье предназначение -- сражать врагов и осыпать поцелуями дев?!

-- Похож, мой владыка,-- твердо заявил старец тоном, не терпящим возражений.-- Похож.

И добавил вполголоса уже знакомую бессмыслицу:

-- Фарр-ла-Кабир. Вне сомнений, господа мои! -- фарр-ла-Кабир!

Девушка фыркнула, а поэт пожал плечами.

Все лучше железных палок.

3

...Сырой бархат темноты ласкал его щеки, искусно притворяясь кистью цирюльника, путался в заплетающихся от усталости ногах, приглашая сесть на валун, отдохнуть, смежить веки и -- спать, спать, спать... Но Суришар упрямо шел вперед, время от времени натываясь на стены или падая, чтобы встать и двинуться дальше. Он уже устал шипеть от боли, да и сама боль от многочисленных

ушибов и ссадин успела притупиться и потеряла всякое значение. Как и многое другое.

Значение сейчас имело только одно: надо идти, сделать еще дюжину дюжин шагов, а потом -- еще полдюжины, и еще... Он дойдет до выхода! Непременно дойдет! Что для этого требуется? -- ах, идти, господа мои, всего лишь идти, сквозь тьму и злость, запрещая себе останавливаться и поддаваться на мрачные уговоры пещеры... какая малость!

Он шел.

Счет минутам и часам потерялся давно, и было совершенно невозможно возвращаться за ним, за проклятым счетом, чтобы узнать, ночь сейчас снаружи или день! “Не сойдешь с пути, так сойдешь с ума!” -- втихомолку посмеивались стены, тьма, и вторили им чужие, чуждые голоса, обещая скорое исполнение желаний, вечный привал между “сейчас” и “никогда”; шаг, смех, призрак безумия, еще шаг...

И когда мрак впереди наконец дрогнул, сдался на милость человеческому упрямству, посветлел, а затем и вовсе расступился, изгоняемый благословенным Огнем Небесным, Суришар даже не нашел в себе сил для радости. Просто добрел до выхода -- и упал.

Заснул он мгновенно.

* * *

...Суришар воздел очи к небу, налившемуся лиловой глубиной -- и увидел, как диск светила тонет в пуховой млечности.

Пора.

Но... ведь это уже было!

Юноша непонимающе огляделся: он лежал на знакомом месте, у входа в пещеру, и солнце клонилось к закату, окрашивая снежную вершину Тау-Кешт в пурпурные цвета шахских одежд.

Неужели он просто заснул, устав от ожидания, и все остальное ему привиделось?!

Шах-заде поспешно вскочил на ноги -- и тут же во всем теле отдалась ноющая боль. Во рту пересохло, перед глазами разом потемнело, рванув душу постылым воспоминанием... Значит, все это случилось на самом деле? Проклятая пещера, где он проблуждал всю ночь, а к утру вышел... туда, откуда вошел! -- и свалился без сил, чтобы проспать до вечера?!

Но где хирбеды с лошадьми, водой и провизией? Ведь Испытание завершилось!

Или нет?

Куда он должен был выйти на самом деле?!

Потрясенный этой догадкой: заблудился, проиграл, не выдержал Испытания! -- Суришар растерянно озирался по сторонам, все больше убеждаясь в обоснованности своих подозрений.

В отчаянии шах-заде бросился к краю обрыва; и увидел.

Далеко внизу, по пыльной спине горной змеи-дороги, двигались три едва различимые чешуйки: фигурки трех всадников. Суришар напряг зрение, и ему показалось, что он узнает их. Да, точно: вредный Гургин и эта дерзкая недотрога Нахид! А третий... третий... На какое-то мгновение юношу обожгло изумление: третий -- это он сам, только сильно постаревший, много повидавший на своем веку, истрепанный жизнью, будто верблюжье одеяло -- кочевым погонщиком буйволов... Шах-заде упрямо мотнул головой, освобождаясь от колдовского наваждения, и взгляделся вновь. Конечно же, третий человек, восседавший на его -- ЕГО, Суришара! -- жеребце, был ему совершенно незнаком.

Чужак.

“Предатели! -- гнев опалил юного шах-заде изнутри, вскипев лавой в жерле вулкана.-- Изменники! Они еще поплатятся за это! Догнать, догнать и рассчитаться за все сполна!..”

Но как? Вниз головой с обрыва -- и забрызгать своими мозгами негодяев?! Говорят, у раскосых взйцев такой поступок считается наилучшей мстью обидчику, но он, Суришар, не взец, он

кабирский шах-заде!

Гнев по-прежнему мерно kloкотал внутри, но сверху его начала покрывать ледяная корка холодной, расчетливой ярости.

Гургин говорил, что на обратном пути они, скорее всего, заедут в Медный город. Вот и славно. Именно там он и перехватит изменников. Но для этого сначала надо добыть коня -- пешком он будет добираться до города в лучшем случае неделю, если не сгинет вовсе в здешних ущельях. Коня! Полшахства за коня! Кто-то ведь живет в этих горах? Живет! Издалека они не раз видели прозрачные столбики дыма -- верные признаки людских селений. Денег у него с собой достаточно, чтобы купить целый табун аргамаков и впридачу нанять проводника до города; да, проводника -- обязательно, а то в этих нелепых горах камня и заблудиться недолго. А если здесь действительно живут великаны и гули-людоеды... что ж, прекрасно! Он сразится с ними всеми -- гулями, великанами, проводниками, горами, пещерами и судьбой! -- сразится, что бы ни болтали предатели-хирбеды, и добудет коня силой! Предателям не уйти!

И, забыв об усталости, шах-заде решительно двинулся прочь от зловерной пещеры.

4

Лучина торчала, воткнутая в щель между плоскими нетесаными камнями стены, и скорее чадила, нежели разгоняла мрак. В углах сакли копились корявые извивы теней, притворяясь старой ветошью. Там что-то шуршало, пищало, бегало взад-вперед, наводя юного шах-заде на неприятные мысли. И пещеру напоминало; только еще противнее. Хозяин, сказавшийся Джухой (“Я сам Джуха, и дед мой Джуха, и его дед; а отец мой -- Аршантагур, и сын мой -- Аршантагур, а внук снова Джуха -- слава моему роду!”) -- так вот, этот самый Джуха, к счастью, свято чтит закон гостеприимства. И говорил понятно: на родине шах-заде примерно так же изъяснялись уроженцы Малого Хакаса, хотя

Джуха, в отличие от хакасцев, изрядно коверкал самые простые сочетания слов.

Отчего речь горца походила на его хижину: сто лет простоит, но душу не радует.

Джуха усадил гостя за сланцевый блин, носивший гордое имя стола, и, наотрез запретив сразу переходить к делу или просьбам, принялся выставлять угощение. Вскоре и сам хозяин уселся напротив гостя, разломил лепешку и сделал щедрый жест, предлагая начать трапезу. Суришар, вспомнив обычаи хакасцев, рассчитывал на добрую толику вина, крайне уместного после гнусного Испытания; юноша ухватился за кружку, даже не очень разобрав сперва, что именно в нее налито -- и жестоко поплатился.

Один-единственный глоток просяного пива, которое успело прокиснуть и прогоркнуть еще в дни деда Джухи, чуть не вывернул шах-заде наизнанку. Боясь закашляться (кто их знает, этих обидчивых скалолазов?!), он спешно ухватил со стола первое, что попало под руку: сероватый шарик подозрительного вида и с резким запахом извести. Однако, против ожидания, шарик оказался отнюдь не пометом двузადой птицы Ум, а твердым и на редкость едким овечьим сыром. Он пришелся как нельзя кстати, мгновенно отбив вкус мерзкого пойла. От неожиданности юноша машинально хлебнул еще раз из глиняной кружки -- мигом кинув в рот следующий шарик и отметив про себя, что в таком сочетании что-то есть.

Зато лепешки, густо усыпанные поверху сушеной кислицей, а также жареная на углях баранина, окончательно примирили Суришара с местной кухней. Не успели оглянуться, а кувшин опустел, уступая место горячему чаю. Какой же ужин без беседы? А какая беседа без чая?

Или это не чай? -- впрочем, юноше уже было почти все равно.

И пиво булькало в желудке почти приятно.

Сначала Джуха, исполняя долг хозяина, поведал гостю о своем роде и о жизни в здешних горах. Юноша честно надеялся услышать о хмурых великанах и гулях-людоедах, однако речь все время шла о другом: предок Джухи налетел на кровника и угнал пять коз, потом кровник налетел

на предка Джухи и отбил три козы, прихватив две чужих овцы и восемь горшков с пивом, потом сын предка Джухи отбил горшки без пива и овчину без мяса, зато обесчестил жену сына кровника, прилюдно назвав ее старой кошелкой, потом внук кровника... Великаны и людоеды в эти подвиги не мешались. Правда, гонец помянул между делом подземных духов-альбестов, но явно больше для красного словца -- сам Джуха с оными духами не встречался и, похоже, отнюдь не горел желанием встретиться.

Хватало кровников, коз и горшков.

Затем настала очередь Суришара рассказывать. Юноша набрал полную грудь воздуха и, стараясь не слишком врать, но и не говорить всей правды, поведал, как он, потомок знатного рода из далекого Кабира (чистая правда!) долго ехал по горам в сопровождении двух спутников (снова правда!) -- и как, проснувшись сегодня утром, обнаружил, что спутники исчезли, прихватив заодно его коня, провизию и прочее имущество (а ведь тоже правда! -- удивился сам себе шах-заде); а потом он увидел их далеко внизу на дороге в обществе незнакомца, видимо, сообщника -- и решил пуститься в погоню за проклятыми предателями, но для погони ему обязательно нужен конь; и хорошо бы -- проводник, а то в здешних горах и заблудиться недолго.

Вот.

А теперь промочим горло.

Джуха сочувственно цокал языком на протяжении всего рассказа, а когда юноша умолк, заявил:

-- Быть конь. И проводник. Сам проведу. Тропа знаю, быстро ехать. Вай, плохой люди тебе попались! Резать надо. Долго резать надо, сердце греть, печень греть, расстройство долой гнать! Завтра. А сейчас спи будем.

И без всякого предупреждения швырнул в лучину папахой.

* * *

Продавать коня Суришару никто не захотел: на все селение лошадей было не больше десятка, и хозяева соглашались скорее расстаться с руками-ногами, а также со всеми чадами и домочадцами, нежели с любимой скотиной. Ни за какие коврижки, а тем более -- деньги. Однако Джуха сумел договориться с сыном двоюродного брата внука кровника, что тот даст гостю коня на время: добраться до Города. Там Джуха заберет коня и приведет обратно, а Суришар купит себе в Городе другого.

На том и порешили.

И вот теперь мохнатый низкорослый зверь, по недоразумению названный конем, споро трусил вслед за лошадью Джухи по, казалось бы, вообще непроходимым тропинкам.

-- К вечеру-ночь быть в Город! -- заверил юношу Джуха, сбив на затылок косматую папаху. От папахи несло горелым.

Осыпям и изъеденным ветрами наростам не было видно конца-краю, зазубренные клыки скал яростно вгрызались в безумную синь неба, деревья, искривленные и скрученные своей тяжелой судьбой, изо всех сил цеплялись за камни руками-корнями... Подъем сменялся спуском, перевал -- перевалом, от жесткого седла и тряской езды у шах-заде уже чувствительно побаливал крестец; вдобавок юношу нещадно донимали блохи -- легионы их с радостью переселились на нового хозяина из кошмы, на которой юноша провел ночь в жилище Джухи.

Суришар терпел, стиснув зубы. Юноша прекрасно понимал, что Джуха не виноват -- у них все так живут. Горец и без того сделал для шах-заде все, что мог, и даже больше: накормил, обогрел, оставил переночевать, добыл коня и лично вызвался проводить до Города. Кто сделал бы больше? Вся вина за теперешние злключения лежит на “небоглазых” предателях. Ничего, скоро он до них

доберется! До них, и до их третьего сообщника, зачинщика святотатственного сговора! Как сказал о них мудрый Джуха? Резать надо? Правильно сказал! Будем резать.

Перевал.

Спуск.

Р-резать!

Подъем.

Перевал.

Долго резать! -- все более ожесточался юноша, подпрыгивая на очередном ухабе и мимо воли расчесывая блошинные укусы. Никакого честного боя -- резать, как поганых шакалов! Сердце греть, печень греть, селезенку, трубуху... Впрочем, одного из злодеев придется оставить в живых, иначе он просто не найдет дорогу обратно в Кабир! -- дошло вдруг до шах-заде.

Мир моргает редко, а Суришар, увы, не самая большая соринка в глазу.

И когда шах-заде, во время переправы через быстрину горной речушки, смирился с необходимостью оставить в живых красавицу-хирбеди,-- за их спинами раздался вой.

Суришар самым постыдным образом вжал голову в плечи, не смея оглянуться. Трусость была присуща кому угодно, кроме молодого шах-заде, но рассудите, господа мои: люди и звери воют по-иному. А здесь желчью выхлестывалась первобытно-жуткая тоска, неотвратимая, как возмездие за грехи в потустороннем мире, и казалось -- вековая боль гор исходит унынием, глядя на скрытую до поры луну и захлебываясь от муки без конца и начала.

Лохматый конек прынул вперед и в один прыжок оказался на берегу, нагнав каурую лошадь Джухи.

Вой оборвался истошным взвизгом, от которого впору было оглохнуть, но эхо его до сих пор металось в теснинах, дробилось, множилось, всем телом ударяясь о скалы, в клочья разрывая самое себя, чтобы вновь и вновь вернуться...

Тишина.

Гулкая, набатная тишина заталкивает в уши бархатные затычки; еще и ладонями поверх хлопает, для верности.

-- Что это было, Джуха? -- свистящим шепотом спросил юноша, опасаясь говорить громко и не слыша звука собственного голоса.

-- Горный Смерт был,-- спокойно ответил проводник чуть погодя; и добавил с ухмылкой.--
Добрый знак.

-- Добрый?! -- поперхнулся юноша.

-- Ясно дела,-- в свою очередь приподнял брови Джуха, удивляясь, что его спутник не понимает таких простых вещей.-- Он же нас предупредила! А могло и не предупредить.

-- И... что теперь?

-- А-а, пустяк теперь! Ехай дальше. Темнота приди, мы должен сиди в Город. Тогда жизнь -- хороший штука.

-- А если это... не сиди в Город?

-- Дохнуть станем, ясно дела,-- пожал плечами Джуха.-- А то пади на ночь в храме Дядь-Сарта, Гложущий Время... Но лучше сиди в Город. Или сдохни.

Дальше они ехали молча. Джуха задремал в седле, присвистывая заложенным носом, а шах-заде пытался представить себе что-нибудь хуже смерти.

Получалось плохо, зато блохи донимали куда меньше.

Так, безуспешно терзая себя горькими думами, шах-заде и не заметил, как они подъехали к заставе.

Очнулся он только от оклика Джухи:

-- Пошлина платить надо! Деньга доставай!

Действительно, шагах в двадцати впереди дорога была перегорожена суковатым бревном,

установленным на подпорках. А сбоку, под навесом, расположились двое близнецов-мордovorотов: в одинаковых чекменях из рыжей шерсти, косматых треухах и с ржавыми, словно молью траченными, бердышами в руках.

Есть, видать, такая моль, что железо грызет за милые пряники.

-- Дирхем и три медных даника за оба рыла,-- хрюкнул левый мордovorот, нимало не интересуясь, кто такие путники и по какой надобности едут. Да и то сказать: даже проезжай через заставу разбойный люд с намерением позабавиться в Медном городе -- разве ж признаются? А на роже редко у кого написано: я, люди добрые, вор и разбойник. Разве что клеймо палаческое на лбу стоит; да и то клейменных лучше заставщиками нанимать, чтоб злее службу вершили, а на лоб и треух недолго сдвинуть. Я, значит, сдвинул, а ты плати пошлину и проезжай.

Без лишних разговоров.

Шах-заде развязал тесемки кисета и, не слезая с коня, кинул заставщику золотой кабирский динар. Этого должно было хватить с лихвой: сколько бы ни стоил местный дирхем, пускай даже и больше двух третей динара, вряд ли въездная пошлина могла превышать золотой!

Монету прямо на лету словно жаба языком слизала; и мордovorот уставился на свою ладонь, как если бы пытался разобраться в линиях жизни и удачи.

Напарник, глухо сопя, заглядывал через плечо.

-- Гляди, и у этих такие же,-- пробормотал он, пока первый обстоятельно пробовал монету на зуб.

Суришара передернуло: вонзить зубы в изображение обладателя священного фарра, отчеканенное на монете -- это ли не варварство и святотатство?! Однако юноша сдержался. В здешних горах явно свои законы (небось, те, которые дуракам не писаны!); местные дикари, возможно, вообще ничего не знают об истинном порядке вещей, как и упрямые горцы его родных краев... Ничего, они узнают! И те, и другие!

Дайте только срок.

-- Вкусно! -- с уважением протянул левый заставщик, а правый отобрал у него динар и сам стал прикусывать подачку, пофыркивая от удовольствия.-- Езжайте, люди добрые, дастарханом вам дорога...

И двинулся к странному приспособлению, состоявшему из деревянного ворота с ручкой, цепи, толстой измочаленной веревки и еще каких-то воротков поменьше. Зазвенела, натягиваясь, цепь, детина крикнул, поднатужась, пустил обильные ветры -- и суковатый ствол начал медленно подниматься, освобождая путникам дорогу.

“Вишь ты: дикари, да не совсем,” -- честно признал юноша.

Уже проехав под поднятым стволом, он вдруг, повинувшись какому-то наитию, обернулся и поинтересовался у заставщика:

-- А скажи-ка, любезный, кто расплачивался с вами такой же монетой, как мы? Не трое ли путников: долговязый старец с бородавкой под носом, наглая девица и...

Рука шах-заде скользнула в развязанный кисет.

-- ...И здоровый дядька! -- возликовал мордovorот, умудрившись поймать брошенный динар, ловко зажав его между плечом и щекой.-- Одежа жеваная, рваная, а глазищи хи-итрющие! На роже шрам, да и слепому видно: всласть пожил... Пальцев на руке не хватает; и еще зубов.

-- Зубов? На рука? -- искренне изумился Джуха, но шах-заде мигом перебил своего проводника:

-- Давно они проехали?

-- Да с третий час будет. Уже в городе, небось.

-- Ниче, отыщем! И ты их зарезать,-- утешил юношу Джуха, когда, уже в сумерках, они проезжали под аркой городских ворот.

Суришар искренне надеялся, что горец окажется прав.

Глава четвертая,
где излагаются многие соображения относительно дурных наклонностей
золотых баранов, вспыльчивых юношей с усиками чернее амбры,
ночных гроз и невезучих собак,
но так и не раскрывается тайна ужасного воя в горах,
хорошо известная всякому чабану
от перевала Баррах до вершины Тау-Кешт.

1

Постоялый хан со многими коновязями, верблюдовязями и даже одной слоновязью располагался совсем близко от крепостной стены. Рыскать по темным улицам в поисках бывших спутников не имело никакого смысла -- те, скорее всего, давно устроились где-нибудь на ночлег. “Возможно, прямо в этом самом хане!” -- мелькнула у Суришара мысль. Увы, надежду на скорую месть не замедлил развеять бритоголовый ханщик, когда шах-заде набросился на него с расспросами. Отведя Суришара в тень вековых карагачей, ханщик подробнейшим образом выслушал юношу, особо замечательные эпизоды упрямил повторить, сочувственно хмыкнул, всплеснул руками, пересказал с десяток подобных историй, где мститель благополучно настигал обидчика...

Ханщику очень хотелось поговорить со свежим человеком. И толку от его сочувствия было чуть: поиски в любом случае откладывались до утра.

-- Ниче, не уйти! -- успокаивал юношу Джуха, налегая на заказанный его спутником плов и вино.-- Утром конь тебе купать. Красный конь купать, быстрый. Потом враг найдешь. Зарежешь. И дом поедешь. Ай, хорошо!

Слова горца и уют хана малость успокоили Суришара. А вскоре выяснилось, что здесь не только вкусно кормят: кельи оказались чистые, с белеными стенами, с мягкими тюфяками; и без клопов или блох, что было вообще удивительно.

Проснулся юноша ни свет ни заря -- солнце еще только боком выползло из-за горизонта, а шило в седалище успешно подняло Суришара на ноги. Он растолкал ворчащего спросонья Джуху (постелью горец не воспользовался, отдав предпочтение дорожному кожному); и они отправились на базар.

Город не произвел на шах-заде особого впечатления: он-то ожидал увидеть невесть что (что именно, он и сам не знал), а тут -- смотри-моргай. Кривые улочки, высокие дувалы закрывают дома, площадь вымощена булыжником... Город был заметно меньше не только родного Кабира, но даже Хины или Харзы, где Суришар успел побывать. Лишь общественные хаузы-водоемы, аккуратно выложенные голубой плиткой и оттого на удивление чистые, а также высоченные башни храмов были Суришару в диковинку. “С хаузами они здорово придумали,-- решил юноша.-- Стану шахом, прикажу, чтобы и в Кабуре так было.”

И через минуту их захлестнула базарная разноголосица.

-- Ай, слава славная! -- туманно возвестил горец, потирая ладоши.-- Пропустил, радость мой, вывел!.. ай, молодец...

И еле-еле успел вовремя ухватить своего спутника за локоть -- иначе шах-заде уже готов был купить у лишайного прохвоста двух красавиц, подобных луне и вполне способных нянчить внучат. Прохвост был отогнан взашей, обиженные красавицы воспеты, но не куплены; и Джуха, игнорируя призывные вопли торговцев сладостями и фруктами, лезущих под ноги попрошаек, разноцветье тканей со всех концов света, оглушительный гомон и дурманы из лавок, торгующих благовониями...

Короче, превратясь в каменного истукана, равнодушного к радостям бытия, горец поволок обалделого Суришара напрямик к конному ряду.

Здесь уж настал черед шах-заде: уж в чем -- в чем, а в лошадях юноша разбирался. И теперь сам повлек Джуху мимо бородатых гуртовщиков -- все, как на подбор, в дерюжных халатах, подпоясанных веревками, с полами, заправленными в холщовые штаны. Ведь ясно и без разглядывания: кони тут продаются мужицкие -- ширококостные, коренастые, с огромными копытами, размером и твердостью напоминавшими головы продавцов. На таких ломовиках только землю пахать или зерно на мельницу возить! Нет уж, Джуха, пошли, пошли, кончай глазеть! -- и вскоре тяжеловозы уступили место настоящим бегунцам.

Разочаровав Джуху донельзя.

Суришар долго приглядывался к стройному гнедому трехлетке, чья грива была заплетена в мелкие косички. Зашел сбоку и спереди, резко взмахнул ладонью перед самой мордой: нет, не подслеповат скакун, отпрянул, захрапел!.. ощупал бабки, суставы, понюхал копыта, проверил на шаг и рыси. Всем хорош конь: стать лихая, легок на ногу, хотя сразу видать -- долгой скачки не вынесет. Но тут шах-заде спохватился, вспомнив старое правило, усвоенное еще от дворцового конюшего: если сразу конь глянулся, если глаз прикипел -- бери, сколько бы ни стоил! Нет денег -- в долг бери, умоли, угони, укради, или душа соком изойдет! А ежели задумался, прикидываешь, весы уравниваешь -- отойди, брось маяться!

Не про тебя конь, не нужен он тебе.

Да и ты -- ему.

Это правило всегда действовало безотказно, и юноша отправился дальше.

А потом он увидел.

Чалый красавец-скакун заговорщицки косил на него влажным лиловым глазом, вскидывал узкую, щучью морду, чуть ли не подмигивал: бери, не прогадаешь! Я -- твой! Одного взгляда Суришару хватило, чтобы понять: конь прав. Рождены друг для друга.

И юноша полез за пазуху: доставать кисет.

Торговаться шах-заде не умел в силу происхождения, но теперь настала очередь верного Джухи. Спорили всласть: долго и упорно, ударяя шапками оземь, призывая в свидетели всех и каждого -- людей и богов, зверей и демонов, купцов и прохожих, Дядь-Сарта и Горный Смерт -- но в итоге ушлый Джуха сбил-таки цену почти на треть.

Впридачу выдурил роскошный ковровый чепрак.

Солнце близилось к полудню, когда они вернулись в хан.

-- Все, парня. Мне вертайся надо. Удачи!

Оставаться в незнакомом Городе и в одиночку пускаться на розыски беглых хирбедов было тоскливо, но -- ничего не попишешь. Джуха, совершенно чужой ему человек, и так сделал больше, чем лучший друг или родной брат. Пора и честь знать.

Суришар щедро расплатился с проводником, а также за аренду взятого напрокат конька (цену двоюродный кровник Джухи заломил такую, что впору было вернуться, согреть сердце традиционным способом горцев!). Но возвращаться шах-заде не стал. И торговаться опять не стал. Лишь вздохнул тихонько и долго смотрел вслед, пока кожух и папаха не скрылись за поворотом.

А после, когда и топот копыт в переулке затих, юноша препоручил своего чалого заботам ханщика и отправился на поиски.

2

Справедливо рассудив, что беглецы должны были где-то ночевать, Суришар начал обход города с местных постоянных ханов. За скромную плату хозяева охотно сообщали юноше, кто вчера останавливался у них на ночлег; и, казалось, поиски вот-вот увенчаются успехом. Однако вскоре выяснилось, что ханов в Городе -- превеликое множество, и еще неизвестно, удастся ли обойти их все

до темноты.

Шах-заде приуныл. Огненная птица-солнце весело подмигивала юноше с небосвода, щедро обрушивая на город слепящий жар своих перьев. Ханщики утирали пот с бритых макушек, перечисляли постояльцев, Суришар вежливо благодарил и шел дальше. Странное дело: поначалу Город глянулся шах-заде совсем убогим -- но раз за разом перед юношей открывались все новые площади, улицы и переулки, крепостные стены норовили удрать подальше, и когда солнце начало клониться к закату, Суришар окончательно укрепился во мнении: Город этот если не Медный, то наверняка заколдованный, и заколдован он исключительно с целью заморочить Суришару голову!

А может, и вовсе в сговоре с проклятыми хирбедами.

Изрядно проголодавшись за день, юноша решил наконец зайти в ближайшую чайхану - перекусить. Он и предположить не мог, что в этом чадном и шумном заведении удача наконец соизволит улыбнуться ему. Видимо, понравился удаче молодой красавчик: хорошо сидел, хорошо жевал сочный беш-кебаб, вино молодое глотал хорошо и ушки на макушке держать не забывал!

-- Эй, Али-хозяин, что за гостя ты сегодня привечал? Уж не пророк ли заезжий, или там святой-чудотворец?

-- Шутишь? -- хозяин подозрительно скосился на шумного болтуна, облаченного поверх халата в кожаный фартук сапожника или скорняка.

Нет, скорее все-таки сапожника: у скорняков одежда вонючая...

Болтун прочистил горло, взлохматил черную, как смоль, шевелюру и залпом осушил вместительную кружку.

-- Ты, Марцелл, и сам у нас вроде чудотворца,-- вмешался в разговор купец средней руки, вытирая ладони о полы длинного казакина.-- Еще отец мой, бывало, едва завидит тебя в чайхане, и давай сразу вспоминать, как вы об заклад бились в молодости -- кто кого перепьет?! Только отец мой

давно в раю гурий за ляжки щупает, а ты все по канавам отсыпашься... Не надоело?

-- А, мало ли что дураки вспоминают! -- небрежно отмахнулся чернявый Марцелл.-- Не лезь бы твой родитель меня перепивать, глядишь, и по сей день небо коптил бы помаленьку... На все воля Всевышнего! А вот когда впереди человека в таверну входит золотой баран, сияя, как начищенный сапог -- это что-нибудь, да значит?!

-- Какой-такой баран? -- мало-помалу раздражался хозяин.-- Баранов всяких видел, включая тебя, но чтоб золотой... Ты это если платить не хочешь, так сразу и говори, чтоб я тебя к судье за шкирку волок! Ишь, удумал: баран...

-- Кто из нас пьян? -- хитро усмехнулся сапожник.-- Ну, ежели тебе скупердяйство zenки застит, и ты чудо из чудес не увидел, так хоть дядьку того запомнил? Трепанный такой мужик, борода клоками, шрам на роже, и двух пальцев на руке не хватает!

Суришар вздрогнул, напрягся и весь превратился в слух.

-- Ну! -- уверенно подтвердил хозяин, сообразив, что сапожник не собирается увилить от платы.-- У него еще ухмылка щербатей твоего гребня, и горло вроде как перерезано, сохрани нас всех Аллах от злой участи! Небось, лиходей-заброда.

-- Сам ты лиходей,-- скривился купец, о котором успели забыть.-- Лиходеи сами берут, а не платят-заказывают. И старики с лиходеями не ходят, почтенные такие старцы в плащах, и порядочные девицы с лиходеями за одним столом не сидят! А с этим и ходили, и сидели. Старик -- ладно, а девица -- очень даже ничего девица, прямо замечу! Персик, не девица! Пери, не девица! Щечки розовые, глазки небом отсвечивают...

-- Кому что, а Мурзе все глазки! -- хохотнул кто-то.-- Небось, уже и разузнал, где остановилась, чтоб ночью наведаться! Авось, пустит Мурзового осла в стойло!

-- А то как же! -- самодовольно подтвердил Мурза-купец.-- В хане хромого Кумара и остановилась. Старик еще две кельи взял: одну -- красотке, одну для мужчин.

Народ загомонил, смакуя любимую тему, и никто не расслышал, как сапожник в фартуке произнес нараспев, глядя в пустую чашу:

-- ...И Златой Овен будет следовать впереди того мужа, носителя священного фарра...

Никто; включая Суришара, которого в чайхане уже не было.

Он услышал все, что хотел.

3

...Уже четвертый по счету прохожий охотно указывал Суришару дорогу к хану хромого Кумара -- каждый раз отправляя молодого шах-заде в противоположную сторону; и каждый раз юноша неизменно возвращался в один и тот же грязный переулочек, зажатый между косыми дувалами, за одним из которых при его появлении слышалось злорадное козые меканье.

Когда юноша оказался в переулке в четвертый раз, уже начало смеркаться. Откуда-то налетел колючий, совсем не южный ветер, швырнул в лицо пригоршню мелких дождевых капель. Капли были похожи на слезы, и шах-заде, чуть не плача от бессилия, так и не понял: дождь ли это, или глаза все-таки предали наследника престола?

А потом сомнения мигом улетучились: ветер ударил крылом, прошелся в брачном танце, взбив пыль смерчиками, и следом хлынул такой ливень, что юноша невольно втянул голову в плечи.

Укрыться от грозы в переулке было негде. Да теперь это и не имело никакого смысла: в первые же мгновения Суришар вымок до нитки -- не помог ни плащ, ни высокая шапка-калансува с назатыльником.

Ливень же, словно куражась над молодым человеком, вскоре ослаб, но прекращаться и не подумал: верно, решил посмотреть, что юноша станет делать дальше.

Бродил вокруг, погромыхивал, молнии гонял туда-сюда: эй, человек, ну спляши, что ли,-- все

веселее!.. и злорадствовала невидимая коза за дувалом, чтоб ей сдохнуть, проклятой!

Окончательно пав духом и махнув на все рукой, шах-заде побрел прочь, куда глаза глядят, поминутно оскальзываясь в грязном месиве... чтобы минутой позже встать столбом, разом забыв про дождь и холод.

У выхода из переулка шел бой.

Не на жизнь, а на смерть.

Круторогий баран, чья шерсть неестественно блестела от осевшей на ней влаги, сражался за свою баранью жизнь с голодным псом.

“Ну вот, где еще по улицам беглые бараны разгуливают?” -- вяло удивился шах-заде, но тем не менее остановился посмотреть, чем окончится странный поединок.

Поначалу казалось, что пес обязательно возьмет верх: вот он вцепился барану в шею, мощные челюсти сжались мертвой хваткой... Однако, вопреки здравому смыслу, на его рогатого противника это не произвело особого впечатления. Баран встряхнулся, весь в брызгах, легко сбросил с себя пса и так наподдал ему вдогонку рогами, что зубастый любитель свежатины со всего маху шмякнулся о ближайший дувал! Не давая врагу опомниться, баран коротко разогнался и живым тараном врзался в затравленно скулившую собаку. Захрустели кости, пес истошно завизжал, а баран, не останавливаясь на достигнутом, продолжал с яростью топтать содрогающееся тело острыми раздвоенными копытами. Хруст, визг,-- шах-заде, не веря своим глазам, наблюдал, как пес в последний раз дернулся и затих.

Победное бляние огласило переулок, ударилось о дувалы, притихшие в испуге, а затем баран наклонил голову и принялся рвать поверженного врага своими плоскими зубами, время от времени жадно глотая кровотокающие куски собачатины!

Суришар мимо воли отступил на шаг -- и в этот самый момент баран на миг оторвался от жуткого пиршества. Взгляд его налился пурпуром, два огня зловеще засветились в сумерках и

уперлись в наследника кабирского престола, не суля молодому шах-заде ничего хорошего.

Баран утробно заурчал и вразвалочку двинулся к юноше.

Уже не думая о своем достоинстве и о том, как будет смотреться со стороны наследник престола, удирающий от барана, шах-заде развернулся и помчался со всех ног. Позади мерно цокали копыта. Юноша бежал что есть мочи, но цокот копыт неотвратимо приближался. Улица впереди раздваивалась, и Суришар инстинктивно замедлил бег в нерешительности: куда свернуть?

Однако раздумья юноши были недолгими: чувствительный удар пониже спины направил шах-заде в левый проулок, а ноги сами понесли дальше. Проулок круто свернул вбок, и Суришар, следуя его изгибу, с разгону выскочил на маленькую площадь -- где и налетел на какого-то кряжистого горожанина.

-- Тише, юноша, подобный вспышке молнии во мраке...-- ухмыльнулся тот, рассудительно подытожив:

-- Так и зашибить недолго!

Сполох молнии высветил его лицо, бросил отблеск на ладонь, которая неторопливо оглаживала бороду; и Суришар задохнулся, благословляя судьбу в облике хищного барана.

“...Трепанный такой мужик, борода клоками, шрам на роже, и двух пальцев на руке не хватает!..”

-- Попался! -- счастливо возвестил шах-заде и потянул из ножен саблю.

4

...подковы небесных всадников грохотали вдалеке, суля грозу. Но Абу-т-Тайиб не внял этой угрозе. Он вдруг решил покинуть чайхану, сей приют обремененных голодом и жаждой. Без видимой причины. Можно было уйти, можно было остаться и заказать еще гранатового сока, от которого

плясало чрево и сводило скулы; можно было вернуться в келью постоянного хана и лечь спать. Можно было все. Чуть ли не впервые в жизни; так бывает, когда ты вдруг понимаешь, что Аллах дал тебе душу в залог отнюдь не навсегда, понимаешь остро и ярко, до сердечной боли и ледяного, темного спокойствия. Именно поэтому старый поэт капризничал в мелочах, изводя навязавшихся спутников и тайно радуясь действительности. Есть люди, с которыми ты незнаком и которые твердо знают, что тебе надо делать, и куда тебе надо ехать. Не счастье ли? Е рабб, тебя провозглашают шахом и валяются в ноги? -- даже если маг с бородавкой безумней весеннего павлина, какая разница? Да, халиф на час! А там... там видно будет. В шахский венец он верил не больше, чем во встречу с птицей Рох, но к чему искушать судьбу и Аллаха?

Или скажем иначе: стоит ли лезть со своим пеналом в чужую медресе? Жизнь продолжается, а в последние годы он редко загадывал больше, чем на день вперед.

Этот день прошел.

Маг и девушка безропотно последовали за ним, когда он поднялся из-за стола. И Абу-т-Тайиб отметил про себя, что уже начал к этому привыкать: к неотвязной парочке, к их послушанию и повиновению; у старика -- вполне искреннему, у девушки же... с норовом девица!

Такие ему нравились.

О них хотелось слагать стихи, звонкие, словно дамасский клинок, журчащие, будто река на перекатах; а для ложа вполне годились другие, послушные и искусные.

Под ногами чавкала грязь, подражая нечистому животному свинье; дождь выждал, пока люди окажутся под открытым небом и отойдут подальше от чайханы, чтобы припустить изо всех сил. Куда идти, Абу-т-Тайиб еще не решил; и после долгого кружения по улицам, в котором смысла крылось не более, чем в послеобеденной отрыжке, он остановился, поджидая своих спутников. Те не торопились, и мокрый до нитки поэт успел вволю поразмышлять о странностях Медного города: создавалось

впечатление, что не люди идут по улицам и переулкам, а город водит людей сам по себе, играя в сложную игру с непредсказуемым результатом.

Как они тут живут, местные горожане?.. и льет, льет -- когда прекратится?!

Почти сразу из-за угла и вылетел сломя голову молодой человек, как если бы за беднягой гналась целая свора ифритов, и с размаху врезался на поэта.

К счастью, оба устояли на ногах, и никто не шлепнулся в лужу.

-- Тише, юноша, подобный вспышке молнии во мраке...-- Абу-т-Тайиб справедливо решил, что выбрал неудачное место и время для красноречия, а посему закончил просто:

-- Так и зашибить недолго!

В ответ скороход самым невежливым образом уставился ему в лицо -- остатки зубов пересчитать хотел, что ли?! -- затем отшатнулся и с возгласом "Попался!" выхватил саблю.

Поэту даже показалось сгоряча, что это пылкий жених-бедуин восстал из могилы и догнал его по ту сторону жизни, дабы свести счеты. Высверк клинка над головой оставлял мало времени для раздумий, а умирать во второй раз не хотелось -- вряд ли тебе заново предложат шахский венец! Удар был хорош, и направь его безумный юноша как надо, наискосок -- лежать бы Абу-т-Тайибу в грязи, разрубленным от ключицы до... в общем, все равно уже, до чего.

Тем паче, что машрафийский меч, за который поэт отдал в свое время блюдо полновесных динаров, остался там, в самуме прошлого.

К счастью, юноше непременно хотелось снести с плеч мерзкую голову со шрамом на скуле. Желание вполне здоровое и даже благословенное: потому что, когда поэт в последний момент бухнулся на колени, клинок со свистом прошел над его укзаем, подбрив ворсинки ткани.

Прошлое скрыл мрак, где пахло мокрым войлоком, будущее рассмеялось с отчетливым привкусом безумия; и час нынешний стал всем временем сразу, от сотворения до гибели мира.

Мира по имени Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби.

-- Ты тоже хочешь насладиться “серым” хвалебным мадхом?! -- тихо спрашивает Абу-т-Тайиб, чувствуя, как страшно горят от падения колени, изодранные пещерой: и еще -- как закипает внутри то варево, хлебнув которого ты можешь отрезать обидчику губы и заставить бывшего владельца съесть их без соли и куфийских приправ.

Выпад. Прямо в лицо. Сабля плохо приспособлена для таких игр, но рука юноши тверда, и приходится снова издеваться над своими коленями. А также наскоро вспоминать полузабытую науку “детей Сасана” -- братства плутов и ловкачей, чья забота в свое время прикрыла поэта от гнева халебского эмира. Шаг, нарочито грузный, снова шаг, подошва сапога скользит по земле, проворачиваясь на носке; и край халата, обласканный сабельным лезвием, повисает хвостом шелудивого пса... жалко, но своя шкура дороже.

-- Тише, юноша, подобный блеску молнии во мраке...

Удар.

Злой, бешеный, и оттого бессильный.

-- ...наслаждению в пороке, дивной пери на пороге,

Нитке жемчуга во прахе...

Удар.

-- Сладкой мякоти в урюке, влаги шепоту в арыке,

Просветленью в темном страхе...

Возраст неумолимо берет свое, хрипло посмеиваясь втихомолку, набивая грудь ветошью, а суставы -- железной крошкой, но “сасанская пляска” все длится, подменяя юность памятью, памятью о славном ловкаче Али по прозвищу Зибак, что значит “Ртуть”, и о его повадках, следить за которыми было привилегией избранных.

И еще: нутром, чутьем битого бродяги поэт понимает, что убить горячего юнца легко, заставить съесть собственные губы -- трудно, но можно; а то, что происходит сейчас, стократ жесточе

и первого, и второго.

-- Башне Коршунов в Ираке, мощи буйволов двурогих,
Шелесту ручья в овраге...

Ливень хлещет сотней плетей по спине, по стене, по глиняным дувалам, истрепывая вдребезги пространство, и хвала Аллаху за сей ливень, ибо сволочной юнец привык биться на твердой земле и даже, скорее всего, под аплодисменты зрителей.

Грязь не для него.

Грязь уравнивает годы.

-- Доброму коню в дороге, неврежденью в смертной драке --

Но невольницей в остроге ждет душа...

О благословенная грязь, в которой Абу-т-Тайиб должен был найти последний приют, второй после самума! -- беспалая ладонь мимоходом зачерпывает полную горсть тебя, о дивная, бесконечно грязная грязь; и подарок отправляется прямиком в лицо юноши.

Простые средства всегда самые действенные: например, кровопускание или прижигание. Или липкая жижа в нужное время и нужное место. Юноша бестолково взмахивает руками, видимо, окончательно ощутив себя сизым кречетом, плюется, рычит -- и тяжелый кулак основательно ласкает сперва плоский живот буяна, а затем и затылок.

Сабля верткой шукой плюхается в лужу. Сам же юноша грузно валится в ноги поэту, валится крайне неудачным образом, мешая продолжить мадх и, что главное, сшибая наземь, поскольку левое колено подвело-таки владельца... а дождь радостно скачет вокруг, стегая наотмашь копошащиеся тела.

Минутой позже тел становится трое.

А еще спустя миг, короткий и полный яростного движения, драчуны выясняют новое обстоятельство: они стоят на четвереньках в семи локтях друг от друга, а между ними стоит баран.

Здоровенный баран очень мрачного вида; и в свете очередной молнии шерсть его отликает синеватым золотом, а глаза явственно мечут искры.

Чуть поодаль молчат маг с девицей, и холодные струи текут по их лицам ручьями; но руки так ни разу и не поднялись отереть воду.

Зато дождь вскрикивает, эхо отдается за горами, и небо перестает рыдать.

Тишина.

Баран сурово глядит сначала на поэта, потом на юношу, потом оброненная сабля ломается под тяжелым копытом, и незванный миротворец бредет восвояси, раздраженно бляя.

Маг делает шаг вперед.

-- Фарр-ла-Кабир не спешит, но везде успевает, владыки мои! Мы поедем домой все вместе. Знакомься, о избранник судьбы: это теперь твой названный сын, шах-заде Суришар. И ты знакомься, шах-заде: перед тобой будущий шах Кабира!..

Будущий шах встречается взглядом с названным сыном, и вдруг чувствует себя молодым.

Совсем молодым.

Такая замечательная ненависть горит во взгляде шах-заде.

КАСЫДА О ВЕЛИЧИИ

Величье владыки не в мервских шелках, какие на каждом купце,
Не в злате, почившем в гробах-сундуках -- поэтам ли петь о скупце?!

Величье не в предках, чьей славе в веках сиять заревым небосклоном,
И не в лизоблюдах, шутах-дураках, с угодливостью на лице.

Достоинство сильных не в мощных руках -- в умении сдерживать силу,
Талант полководца не в многих полках, а в сломанном вражьем крестце.

Орлы горделиво парят в облаках, когтят круторогих архаров,
Но все же: где спрятан грядущий орел в ничтожном и жалком птенце?!

Ужель обезьяна достойна хвалы, достойна сидеть на престоле
За то, что пред стаей иных обезьян она щеголяет в венце?

Да будь ты хоть шахом преклонных годов, султаном племен и народов,--
Забудут о злобствующем глупце, забудут о подлеце.

Дождусь ли ответа, покуда живой: величье -- ты средство иль цель?
Подарок судьбы на пороге пути? Посмертная слава в конце?

Глава пятая,
где слышится скрежет зубовный, пахнет заговором,
воруются пеналы из мореной черешни,
жрецы увлеченно ползают на коленях,
а в довершение всего ангел Джибраиль
так ни разу и не появляется на страницах этого повествования.

Зубы болели так, словно по каждой челюсти весело скакала дюжина шайтанчиков, топоча копытцами. Хотелось разодрать десна ногтями, разодрать до самых пяток и выковырять все, что может болеть; включая сердце и печень. Короче, едва мучительный прилив отступал, откатывался в безбрежный океан пекла, где ему и место, Абу-т-Тайиб чувствовал себя заново родившимся и с трудом переводил дух.

После чего в очередной раз связывал нить предыдущих размышлений, оборванную приступом, и продолжал кругами бродить по покоям.

Он -- шах. Этот, как его... Кей-Бахрам. Трам-тарам. Странник по мирам, расположенный к пирам. Имя выглядело чужим, его можно было взять в руки и потрогать, с содроганием ощутив шероховатость и заусенцы по краям. Оно и было чужим, данное ему вчера имя. Чужим было все: дворец, покои, преклонение и раболепие, судьба была чужой, одежда, надежда... Пока все идет хорошо, как говорил один мулла, падая с минарета.

Пока все идет хорошо.

Абу-т-Тайиб еле сдержался, чтоб не хватить кулаком по столу, инкрустированному нефритом и яшмой; потом пожалел себя и стол. Кулаки не помогут, хоть в кровь разбей. Ты -- шах, мой красавец! Пусть имя твое на айванах царит, и счастье немеркнувшим светом горит над родом и краем, и ратью твоей, и ликом, и царственной статью твоей! Во всяком случае, так утверждают твои верноподданные благодетели, утверждают в один голос, стремглав падая ниц, как если бы твое шахское величество пинало их под коленки. Будь счастлив, мой дорогой халиф на час; обжирайся дармовым сыром, пока рычаг мышеловки не привел в движение грубую прозу бытия.

В последнем поэт не сомневался.

Абу-т-Тайиб подошел к столу и налил себе в кубок из серебряного кувшина, покрытого

тонким кружевом черни. Какая-то добрая душа с вечера наполнила кувшин кисленьким отваром, совершенно не хмельным, и даже наоборот: голова после него становилась ясной, а зубная боль слегка отступала. Поэт отхлебнул глоток, потом прополоскал рот и сплюнул в угол. На ковер. На роскошный ковер с орнаментом из пурпурных и лиловых ромбов. Шах он или не шах?.. по всему выходило, что шах, плюй-не-хочу.

Следующий глоток легко скользнул по горлу в желудок. А поэт вдруг припомнил, как после очередного перевала в горах без названия мир вокруг него мигнул. Ощущение было странным, словно предстояло давать новые имена старым знакомым, а душа вдруг стала курильницей из белой меди, пустой и звонкой. Но они вскоре поехали дальше -- и поэт вновь постарался задремать в седле. Урвать хоть крупицу отдыха, благо есть возможность. Ночами на привалах он мучился бессонницей: вслушиваясь в каждый шорох, подскакивая от дуновения ветерка. Причина была проста. Абу-т-Тайиб давно утратил наив юности; и теперь справедливо полагал в новообретенном названном сыне искреннее желание -- перегрызть глотку названному папаше при первом удобном случае. На сторожевые достоинства мага с бородавкой, а уж тем более дерзкой девицы, поэт полагался слабо. Зато на остроту ножа Суришара... ох, тут и заснул бы, а не вмоготу! Уж больно явственно вспыхивали глаза мальчишки, когда взгляд его будто случайно падал на Абу-т-Тайиба, бродягу, укравшего у шахзаде отчий венец!

Сам поэт тогда еще не верил ни в какие венцы, кроме венца сумасшествия на головах спутников. Он просто ехал рядом с ними, рассчитывая облобызать всю троицу, едва они доберутся до торговых дорог -- и никогда больше не встречаться с удивительной компанией.

В Медном городе поэт на базаре встретил троих дар-ас-саламцев, в постоялом хане успел переговорить с басрийским цирюльником, которого шальная судьба занесла сюда пять лет тому назад -- и способ возвращения домой казался простым и верным. Поэт катал на языке это сладкое слово “домой”, впервые ощущая его подлинный вкус, вспоминал былую жизнь чуть ли не с умилением,

прощая обидчиков, восхваляя друзей, молясь за убитого жениха-бедуина и иных бедняг, чьи головы ему довелось отделить от тел...

Эйфория длилась до тех пор, пока мир не научился моргать.

А спустя еще сутки их встретила толпа вельмож, разодетых пышной слив в цвету.

-- Радуйтесь! -- сипло возвестил маг, подымаясь на стременах, и предгорья откликнулись шумным эхом.-- Испытание завершено, фарр-ла-Кабир вновь сияет нам в полном блеске! Вот ваш шах!

И первым слетел с седла, дабы простереть ниц свое почтение перед убежищем власти; в смысле, перед лошадью Абу-т-Тайиба.

Мгновением позже выяснилось, что путь домой изрядно осложняется, если не откладывается вовсе, а безумие старца заразной чумы. С кликами радости благородные господа принялись освобождать коней от тяжести своих благородных задниц; и вскоре Абу-т-Тайиб мог вдоволь любоваться ягодицами и спинами, обтянутыми шелком и парчой. Последним пал ниц драчун Суришар, так и не сделавший попытки на привале сунуть нож в бок оскорбителю. Лошадь поэта пятилась, справедливо пугаясь открывшегося ей зрелища, сам Абу-т-Тайиб прикусил палец изумления зубами сдержанности, и на ум не приходило ни одной путной идеи.

Велеть им подняться?

Развернуться и поскакать прочь?!

Сделать вид, что ничего не произошло?.. ха! -- легче сказать, чем сделать.

Пришлось выпутываться обычным способом.

-- Э-э-э... негоже достойным валяться в пыли, усами дороги мести,-- пехлевийские слова, став привычными за неделю пути, сейчас спотыкались хромыми мулами; было стыдно.-- Негоже великим владыкам земли... земли... от слуг только лесть обрести! Поклон не позор, но позорней стократ...

Хвала Создателю миров! -- они начали подыматься. И можно было замолчать. Захлопнуть

пасть, надежно укрыв окостеневший язык, не способный родить рифму к слову “стократ”; продолжить путь в шелесте и гомоне, в неподдельной радости, в искреннем обожании, в сладости сердец, распахнутых навстречу повелителю.

Вчера его торжественно возвели на престол; весь город, который местные жители звали Кабиром, ликовал и пил здоровье владыки.

Он -- шах, Кей-Бахрам.

И все же он -- Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби. А посему плохо верит в обожание и сладость сердец, в динары, щедро рассыпанные под ногами, и в суку-удачу, когда та сама лезет в руки; ты ее отталкиваешь, пинаешь острым носком сапога, а она лезет, тычется мордой, скулит: “Возьми!”

В такую удачу поэт не верил вообще.

2

...зубная боль вновь уходит на миг, и миг кажется вечностью, особенно когда ты знаешь: быстрее всего заканчивается именно вечность.

Остановись.

Хлебни отвару, огладь бороду; заставь мысли бежать в нужном направлении.

Иначе... иначе нельзя.

Итак: что остается предположить? Первое -- он, несчастный дурак, застигнутый врасплох самумом, благополучно скончался от удушья, от тяжести песка, и сейчас видит дурацкий смертный сон. Истлевая под мавзолеем пустыни. Сон противоречит общим представлениям о Божьем промысле, но кто намерен оспаривать право Творца на шутку? -- и вообще: какие сны в том смертном сне приснятся?! Может быть, именно такие, с белостенным городом Кабиром и шахским престолом...

Предположение имело право на существование -- но право маленькое, куцее, с горчичное

зерно, и Абу-т-Тайиб забросил его в самый дальний угол. Туда, где на стене, в окружении свиты кинжалов, наискось висел владыка-ятаган: роскошный клинок, держать который в руках было подлинно шахским удовольствием.

Вот поэт и держал, уже три раза за сегодня держал, чтоб потом аккуратно повесить на прежнее место.

Второе предположение стоило первого: допустим, он тронулся рассудком. И теперь по Степи Копьеносцев скитается блаженный доходяга, пуская слюни и воруюя у бедуинов плошки с молоком вечернего удоя; а видит сей юродивый, как его силком возводят на трон, видит и путается в сомнениях...

Нет.

Что-то не сходится.

Дальний угол пополнился еще одним отброшенным выводом, а поэт принялся за третье предположение.

Все происходит на самом деле. Мир велик, и в нем вполне сыщется место для Кабирского шахства. Где-нибудь на краю света, к примеру, за страной чинов или вообще в Уделе Черных джиннов. Всякому просвещенному человеку известно: знакомыми народами заселена лишь четверть земного круга, а что творится в остальных трех четвертях -- ведомо одному Совершеннейшему Благотворителю! Кстати, надо будет позже спросить... нет, велеть принести ему карту здешних земель! Авось, прояснится. Но дело не в карте, а в том, что в Кабире недавно скончался шах. Скончался безвременно, согласно заверениям мага с бородавкой, а шахи безвременно не кончаются -- ежели на то нет особых причин. Разговоры о возрасте покойного (и до двухсот лет не дотянул, бедняга -- ха!) мы оставим на потом, а сейчас...

Предположим, владыку тихо убрали из государственных соображений. После чего наследники с похвальным единодушием стали отказываться от Испытания, сулящего им венец. Насколько

известно под горбатым небосводом, наследники от трона тоже просто так не отказываются -- значит, и здесь был свой резон. Даже какой-то Лухрасп мигом слег в горячке, едва собрался съездить за шахским титулом. Камешек ложится к камешку, и умненький-безумненький маг Гургин отправляется за семь фарсангов щербета хлебать, вкупе с самым глупым претендентом на трон и наглой девицей, которой не владык на престолы возводить, а стонать сладким стоном под законным муженьком!

В итоге юный шах-заде должен был остаться в глуши навсегда. Глупый верблюжонок лишь чудом избегнул скорбной участи, а на трон... А на трон возвели никому не известного чужака, пред которым вельможи склонились, как перед отцом родным!

У Абу-т-Тайиба потеплели ладони. Он вытер их о халат, оцарапавшись драгоценным шитьем, и продолжил кружение.

Вот, вот оно, рядом, рядышком...

Марионетка на троне, пустышка, перекаати-поле! Вызванный колдовством проклятого Гургина из несусветной дали, глиняная свистулька, куда хозяин-невидимка станет дуть по мере надобности -- чтобы вскоре растоптать тяжелым каблуком! И впрямь халиф на час! -- только минуты уже бегут, и лишь судьбе известно, какая из них станет роковой... Надо было исчезнуть еще в горах, а сейчас поздно, сейчас даже из дворца выйти не дадут: если догадка верна, то нового шаха сторожат бдительней, чем узника халифских темниц!

Спокойно, Абу-т-Тайиб, спокойно, голова твоя пока еще на плечах! А жизнь -- не такая уж потеря, чтобы биться лбом об пол, кляня в отчаяньи всех и вся; но жизнь -- и не такая уж безделица, чтобы кукла стала рвать нитки раньше времени.

И зубы болят... Е рабб, ну почему зубы болят даже у марионеток, даже у шахов?.. Аллах, прости святотатца -- у тебя тоже иногда болят зубы?!

Поэт встряхнулся мокрым псом, отставил кувшин и принудил себя улыбнуться. Что делает связанный по рукам и ногам узник, угодив в зиндан? Сперва глаза должны привыкнуть к мраку ямы,

после стоит вслушаться в шаги над головой... опробовать на крепость веревки, проверить узлы -- к птице свободы подкрадываются исподволь, ошупью, боясь спугнуть! Это отлично известно тем, кто больше месяца гнил в зиндане эмира Бахара, да прогрызут черви насквозь его ядовитую печенку! Интересно: а если я сейчас велю собрать военачальников и объявлю Бахару войну? Молодец, стихоплет, быстро осваиваешься... Будем считать, что к мраку привыкли и в шаги вслушались. Пора осмотреть веревки, дернуть цепи: нет ли изъяна в каком звене?

Сунув ноги в теплые кауши, расшитые золоченой канителью, Абу-г-Тайиб подошел к дверям покоев. Сегодня он еще ни разу не выходил отсюда; впрочем, он вообще ни разу не выходил отсюда -- шагом. Куклу делали, наряжали, а затем она до поры легла в сундук. Итак...

Двери отворились без скрипа, от малого толчка ладонью, и из коридора в лицо пахнуло сырой прохладой. Тишина. Лишь в отдалении слышна глухая воркотня, но слов не разобрать, и ничего не разобрать: то ли люди разговаривают, то ли кони фыркают, то ли голуби... А вот теперь слышно: дышат. Сипло дышат, в полгруди, стараясь помешать воздуху заклокотать в глотке, выйти нутряным храпом.

Выберемся-ка наружу, поглядим, кто это тут у нас дышит?

Коридор оказался скорее галереей (вчера не разглядел, вчера было не до того!). Ряды сводчатых ниш, в глубине каждой теплится малая лампадка, дрожа язычком пламени -- десятки змей трепещут огненными жалами; и стены между нишами кажутся перламутровыми от мельчайших росписей, татуировки от пола до потолка. А по обе стороны дверей в шахские покои замерли великаны. Двое, точно Яджудж и Маджудж. Сизые от бритья макушки увенчаны пуговками-тюбетеями, кожаные безрукавки накинута прямо на голое тело, и кушаки из сиреневого бархата многослойно намотаны поверх шальвар, где обычному человеку утонуть проще, нежели в морской пучине. Торсы великанов обильно смазаны маслом, остро пахнет мускусом и мужским потом, и лоснятся бугры мышц, текут волнами, выются клубками удавов...

Стража.

“Ясное дело, стража! -- одернул Абу-т-Тайиб сам себя.-- А ты чего ждал, глупец?! Дервишей с просьбами о подаении?! Черных зинджей с кольцами в ноздрях?!”

Он вразвалочку вышел из покоев. Качнулся с пятки на носок, задумчиво возведя очи горе, и наконец обернулся к великанам. Те, выкатив маслины глаз, стояли недвижимо, лишь убрали к ноге шипастые герданы -- палицы, способные расплющить гору Каф.

-- Ну-ну,-- буркнул поэт, чтоб хоть что-то сказать.-- Ишь, вымахали, на казенных-то харчах...

Великаны не ответили. Вероятно, не поняли: последнюю фразу Абу-т-Тайиб произнес на языке Корана.

И не сдвинулись с места, когда новый шах Кабира медленно, с подчеркнутой ленцой, зашагал по коридору.

Один узел на поверку оказался слабоват; да и узлом его назвать было трудно. Если, конечно, все это не притворство или шутки кукольника. Стараясь отрастить себе уши на спине, поэт насквозь пересек галерею, резко свернул налево, откуда донесся женский смех; но вскоре передумал и наугад нырнул в темный переход. Тот закончился тупиком, где вверх тянулась винтовая лестница, плита за плитой нависая над идущим. Как вскоре выяснилось, вела лестница в круглую башню: достаточно было толкнуть кованую дверцу, и ты попадал в полусферу с четырьмя прорезями бойниц. Если глянуть в северную прорезь -- отчетливо виднелся край соседней башни, рубцы ее кладки; из бойницы западной просматривались сады предместий, плавно сползающие в долину.

К остальным бойницам поэт подходить не стал. Так, сунул любопытный нос в стенные ниши: оловянная чашка с гнутым краем, стеганный колпак... Сквозняки гуляли в башне, гуляли вольно, забираясь под халат, и впору было радоваться надетым с утра чулкам из теплой шерсти. Не в его возрасте сдаваться на милость этим продувным бестиям. В крайней нише обнаружился роскошный пенал из мореной черешни, сплошь расписанный мельчайшей вязью, ветками и цветами. Серебряная

цепочка приковывала к пеналу чернильницу о шести гранях, сделанную из желтой бронзы. Рядом, скрученный жгутом, лежал шелковый платок -- заворачивать сокровище. Воровато озираясь, Абу-т-Тайиб сунул находку за пазуху, туго подпоясав халат (чтоб не выпала!); и передумал. Достал, обмотал платком и демонстративно понес в руке.

Шах он или не шах?!

А значит, по праву может без зазрения совести присваивать и отбирать!.. где ж это видано: совесть у шахов?

Внизу, у подножия лестницы, его ждали двое телохранителей. Не великаны, другие: сухие, поджарые усачи с кинжалами на поясах. Они молча потащились следом -- переход, галерея... В присутствии охраны не было ничего особенного, владыку обязаны сопровождать доверенные люди, блюдя его пуще зеницы ока; и все-таки это раздражало старого поэта.

Хуже зубной боли.

“Надо будет ввести хождения в народ,-- решил Абу-т-Тайиб, возвращаясь в покои и любуясь краденым пеналом.-- По примеру великого халифа Харуна Праведного. И непременно под чужой личиной, без охраны. Брать одного спутника. Да хоть того же Гургина! От него и избавиться в случае чего будет легче легкого...”

Поэт лгал сам себе; и знал, что лжет.

Избавиться от Гургина, от мага с бородавкой, от делателя владык... Кстати, как советуют поступать с тем, от кого покамест не можешь избавиться?!

И дверь покоев распахнулась снова.

-- Гургина ко мне! -- рявкнул шах Кабира.-- Немедленно!

И сморщился вяленой грушей: шайтанчики вновь заскакали по деснам.

-- Я желаю тебя облагодетельствовать.

Маг молчал и смотрел в пол. На котором только что лежал плашмя; а Абу-т-Тайиб еще и обождал минуту-другую, прежде чем велеть Гургину подняться.

-- Цена твоя стала великой в наших глазах, и явная истина блеснула во мраке: ты -- мой собеседник и друг, ты мой близкий и товарищ! Короче, я назначаю тебя своим вазиргом, советником, к чьим советам охотно преклоню слух! Ну, ты счастлив?

Вместо счастья тень набежала на лицо мага. Он потянулся было к бородавке, но раздумал, и старческие пальцы крепче вцепились в посох с остроконечным концом из металла.

-- У моего шаха уже есть два вазирга: Отец Казны и Господин Приговоров. Они имели честь служить еще предшественнику моего шаха, будучи искушенными в мирских делах. Я же никчемный хирбед, раб Огня Небесного, и познания мои в управлении государством не стоят и горсти проса.

-- О твоей богопротивной ереси мы поговорим позже.-- Абу-т-Тайиб оценил гримасу недоумения на лице мага, и ухмыльнулся про себя.-- Если Аллах терпел это ваше идолопоклонничество до сих пор, то потерпит еще немного (да будут мне прощены дерзкие речи!). А Отец Казны и Господин Приговоров будут просто счастливы узнать, что я... в смысле, великий шах Кей-Бахрам, утверждаю пост главного вазирга. Наиглавнейшего!

Тень на лице мага сгустилась, мглой заполняя ущелья морщин, сдвигая брови так тесно, что складка между ними напомнила букву “шин”; и наконечник посоха со скрипом разодрал основу ковра.

-- Владыка переоценивает мои старания. Я готов служить кабирскому трону словом и делом, но кулах слишком тяжел для моей головы!

-- Кулах?

В ответ Гургин указал на стол, где валялась неразвязанная чалма Абу-т-Тайиба. Поверх нее был одет венец белого золота: зубчатый круг, центр которого украшало стилизованное изображение солнца.

По всей длине венца бежала россыпь крупных жемчужин; каждая третья или пятая -- черные. Капли адской смолы.

-- “Книга шахов” гласит,-- тихо произнес Гургин, и голос мага дрожал аккордом, взятым на расстроенной лютне,-- что к тем, кто низок по происхождению, волей владык приходят перстень, пояс и кулах. Твой же кулах, о мой владыка, есть прообраз фарр-ла-Кабир, да сиять ему вовеки!

-- И если я хочу назначить кого-то вазиргом или, к примеру, хлебодаром, то я вручаю ему должностной кулах, пояс...

-- И перстень. Зато если мой шах гневается на своих слуг великим гневом, он отбирает указом знаки власти, и злоумышленники скорбят скорбью неправедных! Замечу лишь, что хлебодарам знаки власти не пристали; в отличие от советников-вазиргов, полководцев-спахбедов или сатрапов и марзбанов, правителей областей внутренних и пограничных.

-- Отлично! -- Абу-т-Тайиб подмигнул магу с искренним весельем.-- Значит, мы закажем для твоей дряхлой головы самый маленький кулах, легкий, невесомый... Ты понял меня, вазирг Гургин? Эй, кто там?! Кулах мне и пояс -- то бишь не мне, а моему любимцу Гургину, да пребудет его бородавка вовек не зудящей!

И тут случилось странное: маг побелел, будто тень на лице Гургина внезапно оборотилась первым инеем. Губы его мелко задрожали -- и старец плюхнулся на колени, уронив посох. Мутная слеза выкатилась из уголка левого глаза, вприпрыжку пробежав по щеке и утонув в прядях бороды, а взгляд стал походить на взгляд древней собаки, которой за верную службу предлагают отравленный кус требухи.

-- Владыка! -- вскрик мага треснул надвое, и черепки слов градом посыпались на изумленного

поэта.-- Владыка! Готов служить, готов стоять у трона... коленями на горохе стоять готов! Не назначай вазиргом! Оставь при себе, оставь конюшим, метельщиком, цирюльником, кем угодно!.. прости раба своего! Прости!

-- Да что ты! Встань, встань...-- если шах Кабира и ожидал чего-то, так уж никак не подобного самоуничужения. Он подхватил мага под мышки, но старец подыматься не хотел, упирался, а под конец даже лег ничком, продолжая бормотать о своей готовности руками выгребать отхожие ямы, лишь бы не надевать кулах вазирга.

Пришлось брать полный кубок и отпаивать Гургина, заливая ему рясу и ласково поглаживая по костлявому плечу.

Наконец старец уgomонился и прекратил всхлипывать.

-- Ты похож на одного моего знакомого, Гургин,-- бросил Абу-т-Тайиб, заложив руки за спину и расхаживая по покоям.-- Он посмотрел утром на рабыню соседа, и та была для него запретна; в полдень он ее купил, и рабыня стала для него дозволена; к вечерней молитве он ее освободил, и девушка вновь стала для него запретна; на закате он женился на вольноотпущеннице, сделав ее дозволенной для себя, чтобы ночью развестись и сделать бывшую жену запретной; а утром он вновь заключил с ней брак, и она стала ему дозволена. Короче, ты сам не знаешь, чего хочешь. Ладно, будь по-твоему: оставайся при мне советником, а златой кулах мы придержим в стороне до лучших времен.

Ощущение было не из приятных: маг вдруг качнулся к поэту и истово ткнулся губами в ладонь, прежде чем Абу-т-Тайиб успел отдернуть руку.

Губы старца были мокрыми и шершавыми.

Как у верблюда.

Глава шестая,

где можно удивляться, можно сочувствовать,
можно преисполниться восторгом или ощутить гнев,
а можно ничего этого не делать, и заняться любым другим делом,
о чем здесь не сказано даже единым словечком.

1

Вызов во дворец застал Суришара в его загородном имении. И застал, надо сказать, врасплох. Юноша как раз сидел на перилах веранды, задумчиво изучая расположение фигур на шахматной доске. Напротив замер управитель: щуплый евнух-коротышка, который по сей день не располнел вопреки обычаям среднеполых, зато успешно превращал дом в полную чашу. Евнух ждал возгласа “Шах!”, ждал дольше обычного, и дождался; только от гонца, а не от хозяина.

-- Шах хочет видеть названного сына, да будет благо им обоим!

Мигом дом закипел, словно забытый на огне котел с похлебкой. Что одеть? С ума сошли: узорчатые шальвары? парчовую джуббу?! сапоги из крашеной юфти?! ни за что! Сочтет щеголем, решит, что достаток выпячиваю... Холщовая рубаха и такие же штаны?! Болваны! Недоумки! Дети ослицы и тарантула! Кто же ездит во дворец, одетый в холст и дерюгу?! Живо, живо, раскрывайте сундуки, вываливайте добро, сам разберусь...

И не прошло часа, как копыта чалого жеребца, купленного в Медном городе, выбили шальную дробь о плиты внешнего двора.

Расплескивая весеннюю грязь, шах-заде бурей вылетел на дорогу, ведущую к западным воротам Кабира, и понесся вскачь. Далеко позади оставались арбы, крытые войлоком-двуслойкой, груженные просом телеги, гурты ослов с мелкой поклажей, паломники в островерхих куколях и караван торговца-оразмита; чалый мерял пространство, вытянувшись струной, а шах-заде подставлял

лицо пронзительному ветру, и душа пела птицей бульбуль:

-- Быстрее! Еще быстрее!.. владыка хочет видеть названного сына...

Еще во время обряда помазания, когда представители всех четырех сословий пали на колени пред новым шахом, Суришар понял -- Огонь Небесный нарочно искушал его. Плеснул в глаза сиянием ложных надежд, одурманил мозг тщеславием, заставил дерзновенно кинуться на того, чье чело отмечено судьбой и фARR-ла-Кабир! Видать, сильно прогневал святых покровителей самонадеянный шах-заде, живым выйдя из пещеры Испытания и вместо благодарности взлелея гадюку мести, если понадобилось сбрасывать его с вершин гордыни в бездну покаяния... О Кей-Бахрам! Вели отправиться в ссылку! Вели гнить в темнице до скончания веков! Вели в одиночку пойти на дэвов Мазандерана!

Исполню не колеблясь!

Несся чалый, приближались городские рвы, где тяжело плескалась желтая муть, исполинами выростали стены, издали отблескивая то булатной синевою, то ржавым налетом; более светлые камни арки ворот казались зеленовато-сизыми, будто патина на старом серебре -- несся чалый, наслаждаясь скачкой, и плетъ так ни разу и не обладала конские бока.

К чему?

-- ...По зову владыки!

-- О, шах-заде Суришар! Конечно, конечно, мы сейчас проводим!

Куда его ведут?! Задний двор, террасы, галереи, вереницы низеньких комнат, чьи стены обиты кедровыми досками, диваны с полосатыми тюфяками, снова двор, галерея, фонари из резного кипариса растопырились летучими мышами... в темницу! Его ведут в темницу!

Сбылось!

-- Прошу, сиятельный шах-заде! Владыка велели не мешкая...

На длинных стойках развешано белье для просушки. Исподнее: плещет шелком крыльев, тончайшей бязью оперения -- белое, розовое... всякое. Рядом каменный домик, и из стенных проемов грозно скалятся львиные морды, отрывивая струйки воды. Войдешь в дверь, и боязно ступать по роскоши мозаик: прямо под сапогами лежит нагая красавица, бесстыдно обливая щедрую плоть из кувшина -- топчи, гость! Мраморные скамьи сами кидаются навстречу: садись, скинь одежду, улягся распаренным телом, подстелив циновку, доверься умелым рукам слепцов-массажистов!

Надежды на благодать темницы, на искупление грехов и очищение совести, рухнули горным обвалом.

Вдребезги.

-- Владыка изволят посетить баню! Но относительно шах-заде было велено: пропустить без задержки! Ну куда же вы, куда!.. в сапогах, в халате...

Суришар потянул из-за кушака нож, чьи ножны и серебряную рукоять густо усыпали зерна бирюзы, после чего принялся разматывать сам кушак. За угловой дверцей вовсю звякала медь кувшина, тихо струилась вода и доносилось счастливое кряканье. Не так представлял себе шах-заде официальную встречу с властелином Кабира: своды парадной залы, ряды царедворцев застыли в торжественном молчании, и вот он, шах-заде -- с достоинством принимает опалу, подставляя шею под карающий меч истинного правителя, названного отца! Дудки! -- в смысле, именно дудки, а не трубы или карнаи. Где уж тут с достоинством подставить, если ни царедворцев, ни залы... подставишь, а лишенный шальвар зад выпятитесь куриным огузком, подло намекая: пни! приложись пяткой! ну же!

Оставшись голым, Суришар совсем заскучал.

И, в тоске обмотав чресла передником, нырнул в пар, журчанье и кряканье.

Зрелище потрясло юного шах-заде: обладатель фарр-ла-Кабир ничком валялся на цветастом половичке, а по его жилистой спине усердно топтался банщик, визжа от азарта. Рядом курилось

жерло бассейна, доверху наполненного горячей водой. Засмотревшись, шах-заде нечаянно наступил на забытый банщиком обмылок, пятки юноши взлетели к потолку, зато все остальное с грохотом рухнуло на пол.

-- А, это ты! -- прохрипел шах Кабира, пытаясь вывернуться из-под мучителя.-- Молодец, быстро доскакал... Эй, плясун, разомни-ка мне сыночка!

Не успел шах-заде опомниться, не успел отбитые ягодицы почесать, как и под ним чудесным способом образовался половичок, а банщик принялся всю пинать и щипать “сыночка”.

Эй, поосторожнее! эй! ай! ой!.. я ж тебе не тесто в кадке!

Шах меж тем встал и пересел на скамью. Взяв резную доску, он уставился на нее, после задумчиво хмыкнул и почесал волосатую грудь.

Шрам под левой ключицей розовел дождевым червем, распарившись от жары и ласки банщика; еще два червя ползали -- один по шее, другой по скуле владыки.

-- Эй, юноша,-- шах ухмыльнулся и добавил, вогнав Суришара в краску,-- подобный блеску молнии во мраке... А скажи мне, дружок, вот что: Пламень-в-Красном-шлеме -- это как понимать?

Суришар наконец скинул с себя банщика-надоеду и рискнул приблизиться к владыке. Сесть рядом он не решился (да и кто бы решился?!), устроясь на мокром полу рядом с ногами шаха. На сами ноги юноша старался не смотреть: испещренные синими жилами, с пятнами застарелых ушибов, они выглядели недостойными своего хозяина.

Дурацкая мысль, но в бане другие, более чинные и мудрые мысли, как отрезало.

-- Пламень-в-Красном-шлеме? -- переспросил шах-заде.

В ответ шах молча сунул ему доску; после чего ночь слепоты сменилась утром ясности.

Суришар никогда не считал себя знатоком-звездочетом, он даже гороскопы, которые подсовывал ему евнух-управитель, читал вполглаза, через строку, но вырезанные на доске символы были ясны даже для мальчишки.

Вот Нахид, звезда любви и чадородия, вон Кей-Ван, шах звезд с кольцами фарра вокруг чела; а вон и Пламень...

-- Новое имя владыки -- Кей-Бахрам,-- юноша поднял голову и встретился взглядом с названным отцом.-- А Бахрам -- это и есть звезда Пламень-в-Красном-Шлеме. Багровая такая, будто кровь запеклась... символ воина.

-- Миррих-воитель?

-- Нет, если по-нашему, то Бахрам. Миррихом эту звезду в Дурбанском султанате зовут.

Внезапно вспомнилось: первым, малым именем владыки было... как он тогда назвался? Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби? Огонь Небесный, имя-то совсем дурбанское! Уроженец тамошних равнин? Да нет, быть не может: вон, фарр вокруг чела так и сияет!

Нимало не забываясь еретическими сомнениями юноши, шах встал, поскреб макушку уполовиненным пальцем; и вдруг с разбегу плюхнулся в бассейн. Брызги взлетели до потолка, и оттуда, из плеска и брызг, донеслось:

-- Ладно, Иблис с ними, с именами-звездами! Мудрецы намудрили, а мы выясняй... Ныряй лучше сюда, потолкуем о душевной сладости! Говорят, ты стихи слагать горазд?

Шах-заде твердо уверился в грядущей опале. Баня, не баня -- все равно. Вопрос о стихах сразу напомнил ему: гроза в проклятом Городе, сабля рубит мимо цели, и строчки хлещут по лицу звонче оплеух. Не зря, видать, шах про “молнию во мраке” намекнул!

-- Ну давай, давай, чего насупился! Омоемся большим омовением, ибо оно ключ к воротам рая и палатка света о четырех веревках, а возле каждой веревки ангел поздравляет тебя с легким паром! Иди, приятель, потешь мою душу жемчугом красноречия!

Пришлось Суришару вставать с пола, тащиться к бассейну и робко садиться на краешке бортика, свесив пятки в горячую воду. Как он здесь плещется, в кипятке?... одно слово -- владыка!

-- Язык проглотил? Смотри, еще минутку промолчишь -- петь заставлю!

-- Боясь жены, друзей, боясь людской молвы,-- начал шах-заде вспоминать первое, что пришло на ум,-- боясь назвать кривой ствол дерева кривым... э-э-э... ты все равно кричишь, что ты -- венец творенья!..

-- Как жаль, что под венцом не видно головы! -- в голос закончил шах и расхохотался.

Ответом ему был истошный вопль, потому что от изумления Суришар сполз-таки в горячую воду целиком; и еще потому, что он был потрясен легкостью, с какой владыка играл словами. Сам юноша уже плохо помнил, чем там заканчивалось давнее четверостишие, и собирался импровизировать -- пока это намерение не выдернули из-под него скользким половичком.

“А вдруг примет за намек? -- обожгла шальная мысль, и кипяток сразу показался холодной горных ключей.-- Нет, ерунда, он же сам... ну и что, что сам! Головы под венцом не видно...”

Суришар с опаской покосился на названного отца, и действительно ничего не увидел: шах скрылся под водой целиком. Одни пузыри всплывали, словно вода и впрямь закипела. Наконец показалось бритое темя, высокий лоб, где возраст успел проложить немало борозд, затем явились топазы глаз по обе стороны горбатого носа; и губы с налипшими на них прядями усов.

-- Хороший ты парень,-- сказали губы, пока глаза пристально изучали юношу, и взгляд шаха тайно противоречил сказанному, впиваясь жалящей змеей.-- Молод еще, правда, горяч не в меру, но это пройдет... к сожалению. Я так Гургину и сказал: хороший, мол, парень, жаль, если зря скиснет! Ну, отвечай, не задумываясь: какой столичный полк самый-самый?!

-- Гургасары,-- машинально откликнулся шах-заде, плохо понимая, к чему клонит владыка.-- “Волчьи дети”.

-- А раз так, готовься: быть тебе с сегодняшнего дня полководцем-спахбедом, Волчьим Пастырем! Пойдем одеваться, напомнишь -- там тебе уже все приготовили: пояс, перстень и этот, как его...

-- Кулах,-- подсказал юноша. Слова шаха жарко обтекали его, струясь незримым кипятком;

понимание ускользало, виляя хвостом, а карие глаза все смотрели, не отрывались, ждали чего-то... чего?!

-- Ага, и кулах. Нацепишь, приберешь своих гургасаров к ногтю, а дальше, глядишь...-- ладонь шаха резко вынырнула наружу и с палаческой цепкостью ухватила Суришара за кудри. Рывок; и вот они лицом к лицу, названные сын и отец, пасынки судьбы, дети-ублюдки пещеры в горах без названия.-- А дальше, одной прекрасной ночью, поведешь “волчьих детей” на дворец! Охрану вырежешь под корень, их резать, что козий сыр рвать, потом старому дураку башку долой! -- придут утром советники с лизоблюдами, а на троне новый шах, Кей-Суришар! Нравится?! Ну, отвечай -- нравится?!

Так Суришара не обижал еще никто и никогда. “Серый мадх” показался юноше благословением небесным после этих слов, после этой властной руки и этих глаз, двумя раскаленными иглами впившихся даже не в самое сердце! -- глубже, еще глубже, туда, где прячется...

Шах-заде не знал, что у него прячется глубже сердца.

Он просто заплакал.

Слезы текли по лицу, слезы стыда и обиды, соленые капли щекотали уголки рта, и хотелось умереть. Нырнуть с головой в мутную воду, чтобы больше никогда не выныривать в эту проклятую жизнь, где прибой бьет тебя о скалы, не пропуская даже самой заваливающей. Соль выедала глаза, а напротив, на бортике бассейна, сидел великий шах Кей-Бахрам; сидел и разглядывал плачущего юношу со странным интересом. Так глядят на площадных акробатов, на мутрибов-лицедеев, раздумывая: что бросить шутам за трюк?

Монету или гнилую сливу?!

-- Е рабб,-- спустя минуту пробормотал шах, и лицо владыки сморщилось, как если бы он хлебнул уксусу,-- ну не может же он... Ладно, парень, забудь! Ну все, все, умойся... или лучше я тебя сам умою. Быть тебе спяхбедом, быть, хватит реветь-то!

И Суришар ткнулся мокрым лицом в чужие ладони, покрытые твердыми мозолями.

2

...пир был в самом разгаре.

Слуги проворно сновали меж столами, блюда исчезали и появлялись словно по волшебству, седло барашка в темной подливе сменялось мясными шариками, переложенными пучками черемши, сладкий фалузадж-медовик соперничал ароматом с джаузабом, где куропатки истекали сладким соусом; и кубки долго не пустовали.

-- Уф-ф! -- это было все, что сумел сказать Абу-т-Тайиб, когда подали душистую харису: вид плова, куда вместо риса клали пшеничные зерна.

Есть он уже не мог; и не есть не мог.

Особенно если учесть: поэт и раньше частенько нарушал запрет пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) на вино (да благословит его Аллах и приветствует!) -- но здесь из патоки гнали жидкий огонь, позволяя в обход запретов изрядно повеселить душу (да благословит ее Аллах и приветствует!).

Шах улыбнулся, берясь за кубок.

Его новый спяхбед, чей дом сегодня был удостоен чести государева визита, просиял в ответ и возгласил замысловатую здравицу. Хороший парень. Начисто лишен греха злопамятства. Абу-т-Тайиб вспомнил, как в бане испытывал Суришара, испытывал жестоко, с палаческим пристрастием, пальцами ковыряясь в сокровенном... Оставалось либо предположить, что местные шах-заде -- самые талантливые лицедеи в мире, которым заплакать, что иным высморкаться; либо враг и впрямь стал верным слугой. Если второе истинно, стоит иметь его рядом вкупе с полком "волчьих детей", если же истинно первое...

Е рабб, ненависть в нашей жизни редко сменяется преданностью! -- особенно ненависть наследников престола, у которых престол увели самым наглым образом... Об этом думать не хотелось. У жеребчика было меньше всего шансов участвовать в возможном заговоре; меньше всего шансов выжить в горах, где его подло бросили лже-проводники; меньше всего шансов проникнуться любовью к нему, Абу-т-Тайибу! А если он, вопреки очевидному, выжил и проникся, то пускай так дальше все и идет. Пусть стоят плечом к плечу, по обе стороны кукольного трона: хитрый маг и пылкий шах-заде.

Пусть, а там посмотрим, кого столкнуть лбами.

Абу-т-Тайиб честно признался самому себе: игра в “Смерть Шаха” начинает его увлекать. Поэт по-прежнему чувствовал себя молодым. Как тогда, в Городе, когда встретился глазами с юным шах-заде. Жизнь была прекрасна и разнообразна. Бархат штор -- и ожидание стрелы из-за каждой; мягкое ложе -- и тени ночных убийц; почести в предвкушении публичного разоблачения, здравицы в преддверьи проклятий -- и дворец на пороге могилы. Все это придавало существованию смысл, наполняло еду доброй толикой перца, и по утрам Абу-т-Тайиб вскакивал с юношеской бодростью, о которой успел позабыть давным-давно. Даже зубы перестали болеть; только до сих пор жутко свербели десна.

Все время, сводя с ума.

Если бы не это...

Абу-т-Тайиб отхлебнул из кубка. Сегодня он проверил крепость еще одного узла: впервые выехав из дворца в загородное имение нового спахбеда. Интересно, а если сейчас попытаться ускользнуть от свиты и челяди... Хмель толкал на подвиги, но благоразумие натягивало поводья -- вспомни, поэт, торопливость ведет на “ковер крови”! Славный такой коврик: его подстилают под приговоренного царедворца, дабы кровь не забрызгала покои владыки. Помнишь? -- ты однажды уже стоял на таком ковре, и достаточно, достаточно!

Он помнил.

И продолжал сидеть за столом; тем более что на сегодняшний вечер у него был припасен еще один узел.

Государственный узел, можно сказать.

-- Эй, Гургин!

Маг поднялся с глубоким поклоном. За весь вечер старец съел одну лепешку с тмином, запив ее подкисленной водой. Лицо у мага было мрачней ночи, кустистые брови сошлись у переносицы, тучами затеняя блеклую голубизну взора; и Абу-т-Тайиб еще подумал, что на месте мага хмурился бы вдвое.

Ишь, лепешка... под такие ароматы!

-- Надеюсь, тебе передавали, что утром я вызывал к себе писца с докладом?

Гургин пожал плечами.

-- О поступках владыки докладывают разве что солнечные лучи Огню Небесному. А я всего лишь дряхлый глупец, чьи советы лишены всякого смысла.

Абу-т-Тайиб кивнул, словно соглашаясь с выводом мага, и исподтишка мазнул быстрым взглядом: обидится ли?

Шайтан его разберет, хмурится и хмурится...

-- Тогда, полагаю, тебе будет интересно знать, что я лишил пояса и кулаха окружного судью Пероза! -- поэт говорил уверенно, со знанием дела, забыв добавить лишь, что имя судьи Пероза узнал утром из бумаг писца.-- Ибо дважды на Пероза поступали жалобы, где он именовался судьей неправедным, и вопли страждущих достигли небес! Что скажешь?

Странно: пирующие хоть и прислушались к словам владыки, но отнеслись к его заявлению крайне спокойно. Когда буидский эмир Муизз ад-Даула, фактический правитель Дар-ас-Салама в

обход халифа, или кордовский Омейяд аль-Хакам II смещали родовитых сановников -- шептались куда больше. Одному сановник доводился родичем, другому -- покровителем, третьему -- фаворитом, поверенным в делах, другом, наконец!.. А здесь тишина. Выслушали, кивнули и облизывают сальные пальцы.

Один Гургин дальше хмурится, хотя, казалось бы, дальше некуда.

Ну что ж, бедный поэт и не переоценивал своих возможностей в реальном возвышении или низвержении. Ясное дело, указы марионетки годны только в сундуке.

И все-таки...

-- Владыка подписал указ об отстранении судьи Пероза? -- спрашивает маг вполголоса.

-- Да. И велел гонцу немедля доставить сей указ в дом судьи.

-- Не поторопился ли владыка? Возможно, стоило бы подробнее разобраться с жалобщиками?

Судья Пероз стар, более чем стар, и лишить человека в его возрасте пояса и кулаха без детального разбирательства...

Маг говорит шепотом, еле слышно, хотя никто и не вслушивается в беседу шаха с советником.

-- Ну, ты у меня тоже не мальчик, а от кулаха отказался! -- бледность внезапно заливает лицо мага, и Абу-т-Тайиб решает не перегибать палку; особенно имея в запасе новый подарок. - А впрочем, умница! Вот и я думаю: не погорячился ли? Не внял ли мольбам злоязычных?! Наш достопочтенный устроитель пира, мой названный сын, минутой ранее сообщил мне: имение Пероза всего в двух фарсангах от этого дома! Итак: седлайте коней! Шах едет разбираться!

И, не дав никому опомниться, поэт встал из-за стола.

в имение отставного судьи, застал там громкий плач и причитания. Труп судьи лежал в открытом гробе-табуте, уже обмытый и завернутый в погребальные пелены; а рядом скорбно молчали родственники и близкие друзья. Обман исключался, да и не стал Абу-т-Тайиб проверять: настоящий судья лежит перед ним или поддельный? Просто постоял над трупом, вспоминая вопрос мага-советника:

“Не поторопился ли владыка? Судья Пероз стар, более чем стар, и лишит человека в его возрасте пояса и кулаха без подробного разбирательства...”

А ведь он всего лишь хотел уличить возможных заговорщиков в пренебрежении к указам шаха, уличить публично, дав пищу молве!

Уличил, владыка?

Ты ведь был уверен, отправляя гонца, что цена твоему указу -- рубленый даник, и тот с обгрызенным краем!

-- От чего умер судья? -- глупо спросил Абу-т-Тайиб, и едва не покраснел.

Вперед вышел ровесник поэта, очень похожий на умершего: вероятно, старший сын.

-- От...-- он запнулся, проглотил слюну и уже твердо закончил.-- От старости, мой шах. От старости.

-- Получив мой указ?

-- Да. Получив указ владыки. Вот..

Абу-т-Тайиб обратил внимание, что ему протягивают атласную подушку, поверх которой лежали пояс и кулаха.

Золотые бляхи на ремне и россыпь жемчужин по зубчатому обручу; похожи на шахские регалии, но меньше и бедней.

-- Оставь себе,-- тихо сказал шах Кей-Бахрам.-- Теперь ты -- окружной судья. Оставь себе.

-- Лучшего выбора трудно и представить,-- шепнул на ухо Гургин, но шах не слушал его.

Лица. Лица родственников судьи, лица его друзей; лицо самого покойника. Абу-т-Тайиб мечтал, чтобы хоть на одном из этих лиц мелькнула укоризна, ненависть, презрение к владыке, подписавшему указ об отстранении из мимолетной прихоти... ну же!

Нет.

Лица были спокойны, и глаза смотрели понимающе.

Оправдывая.

Машинально Абу-т-Тайиб сунул пальцы в рот, ухватил, дернул... Извлек гнилой пенек, зачем-то спрятал его за кушак, видимо, постеснявшись при мертвецке швырнуть в угол. Сунул окровавленные пальцы в рот снова, пошарил; и брови шаха удивленно взлетели на лоб.

* * *

Уже отъезжая от судейского имения, он бросит Гургину:

-- По приезду гони ко мне лекаря! Кто тут у вас зубами занимается?!

-- Зубами у нас занимаются цирюльники,-- прозвучит спокойный ответ.-- Но владыке они не нужны.

-- Как не нужны? А что тогда творится у меня во рту?!

-- Ничего опасного,-- и Гургин впервые за сегодня улыбнется.-- Ничего опасного, мой шах. Просто у тебя режутся новые зубы.

Глава седьмая,
где речь пойдет о благородном искусстве охоты
и послушных шахской воле девицах,
а также о прилюдных казнях и мудрости правителей --

однако не будет упомянуто, что если первым днем года станет понедельник, то это указывает на праведность властвующих делами и наместников, а также год будет обилен дождями, возрастут злаки, но испортится льняное семя, умножится моровая язва, и падет половина животных -- баранов и коз; хорош станет виноград и скуден мед, хлопок упадет в цене, а Аллах лучше знает.

1

Утро наступало особенное. Охотничье утро -- это новый шах Кабира понял сразу. Тусклая сталь неба медленно раскалялась на востоке, где ангелы-кузнецы разжигали горн для переплавки грехов в добродетели -- и металл тек голубизной, превращаясь в редкую разновидность индийского булата. Легкие белые стрелы облаков перечеркивали свод над головой, и Абу-т-Тайиб окончательно уверился: быть сегодня потехе!

Говорят, фазанья охота здесь -- поистине шахская. Вот и проверим. Даром, что ли, за “ловчие поэмы” ему в свое время платили втрое больше, чем за винную лирику “хамрийят”?! А когда охотник может в любую секунду стать дичью, равно как владыка -- падалью...

Поэт твердо знал: если, миновав невольничий рынок, взять наискось от угловой башни и спуститься в лощину, то через час начнутся кустарники, где и ждут ловца краснохвостые птицы со спинками из чистого серебра.

Знать бы еще, откуда подобная уверенность? И все-таки: прикроешь глаза и ясно видишь -- рынок, дорога, лощина... фазаны!

Наваждение?

Пылающий лик светила еще только-только успел взмыть над твердью, оглядывая землю и выясняя, что здесь успели натворить в его отсутствие -- а кавалькада нарядно одетых всадников уже выезжала из ворот дворца.

Меховая джубба, поданная шаху по случаю охоты, оторочкой подола свисала едва ли не до стремян. Конь шел ровно даже по грязи, не сбиваясь с рыси, а жгучий от холода воздух бодрил, быстро изгоняя остатки сна. Впереди покрикивали и незло щелкали нагайками телохранители-гургасары во главе со своим новым спяхбедом, гоня с дороги ранних прохожих... В общем, настроение у Абу-т-Тайиба было отличное -- подстать этому ясному утру. В голове сами собой сложились два бейта:

-- Миновала давно моей жизни весна. Кто из нас вечно зелен? --
одна лишь сосна.

Нити инея блещут в моей бороде, но душа, как и прежде,
весною пьяна!

Пей, душа, пой, душа, полной грудью дыша! Пусть за песню
твою не дадут ни гроша

Пусть дурные знаменья кругом мельтешат --
я бодрее мальчишки встаю ото сна!

Абу-т-Тайиб, ставший с недавних пор шахом Кей-Бахрамом, громко расхохотался. Эй, игроки-кукольники! Смейтесь и вы! Смейтесь над болваном в венце, плетите сети интриг, дайте вдоволь надышаться дразнящим запахом опасности, дайте миру еще немного побыть обжигающе ярким;

позвольте вам подыграть, не забывая украдкой глазеть по сторонам. Кабир ваш для меня -- тайна за семью печатями, но каждая поездка добавляет золотые крупницы в сокровищницу знаний -- а знания эти мне понадобятся, ох как понадобятся!

И, возможно, весьма скоро.

На первый взгляд Кабир мало чем отличался от других виденных Абу-т-Тайибом городов -- а их на своем веку поэт повидал немало. Кривые улочки, майданы, хаузы-водоемы, глухие высокие дувалы скрывают от досужих взглядов внутренние постройки, сплошь каменные (хоть у богачей, хоть у бедняков). Оно и понятно: камня кругом в изобилии, бери -- не хочу, а дерево еще поди сыщи! Мошна тугая? -- возводи дом хоть из белого с прожилками мрамора, добываемого рабами и каторжанами в каменоломнях; каждый дирхем на счету? -- строй жилище из ноздреватого ракушечника-желтяка или серого сланца. Все -- как в той же Куфе, Басре, Дар-ас-Саламе... все, да не все.

Во-первых, город непривычно чист. По крайней мере, те улицы, где они ехали, явно убирались метельщиками не за страх, а за совесть.

Топтать стыдно.

Во-вторых, дувалы наиболее богатых домов украшала лепнина из белого ганча, раскрашенного пестро и ярко. Среди изящных переплетений листьев, стеблей и бутонов, дозволенных правоверным, частенько встречались изображения зверей, птиц и даже людей. Было совершенно очевидно, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) почему-то забыл просветить эти края, и души местных жителей до сих пор блуждают впотьмах, не зная истинной веры... Впрочем, они-то как раз считают, что впотьмах блуждают все остальные, а их души освещает лично Огонь Небесный. Ладно, да простит Аллах меня и гяуров-кабирцев, но с вопросами веры мы разберемся позже.

Ведь сказано: “У пророка Божьего из всех его добродетелей прощение обид есть именно та

добродетель, на которую можно уповать с наибольшей уверенностью”.

Вознесем упования!

Да, и, само собой, нигде не видно устремленных в небо минаретов, столь привычных глазу. Здешние храмы -- низкие, круглые, и есть подозрение, что немалая часть сих языческих капищ прячется под землей. Равно как и замыслы местных жрецов-хирбедов: даром, что ли, именно парочка святош сопровождала на тот свет мальчишку Суришара?!

Молодец, шах свежепомазанный, правильно Гургина приблизил...

А вот и городские ворота.

Да здравствует шахская охота -- и прочь до поры до времени все другие мысли!

2

Охота удалась: дичи было вдоволь, и рука ни разу не подвела Абу-т-Тайиба; ехавшие сзади слуги везли в тороках целую стаю подстреленных птиц. В искусстве дворцовых поваров шах имел уже возможность убедиться, а предвкушение скорого ужина заставляло чрево бурчать.

От спин разогревшихся коней подымались облачка пара, по телу разливалась сладкая истома. Вдобавок имелось еще одно обстоятельство для радости: когда во время охоты Абу-т-Тайиб намеренно оторвался от свиты, ускакав далеко вперед, никто не поторопился догнать шаха.

Свобода? -- нет, просто дергаем узлы.

Пока.

Впереди уже виднелась арка ворот, когда Абу-т-Тайиб приметил у обочины какую-то девицу, уступившую дорогу кавалькаде с похвальной резвостью. Одного взгляда на пышно разодетых охотников ей вполне хватило: девушка, стесняясь, поспешила согнуться в поклоне, а затем прикрыла лицо передником. Одежда ее слегка задралась, обнажив стройные щиколотки, и этот жест развеселил

поэта.

Абу-т-Тайиб подбоченился и с улыбкой продекламировал:

-- Что скрываешь ты, девица, под покровами одежд?
Дай же взгляду насладиться, не обманывай надежд!

Мое сердце -- спелый персик, хочешь, режь, а хочешь, ешь,
Я сгораю в нетерпении, охлади мой пыл, красавица!

Он тронул было поводья, собираясь ехать дальше. Но вместо этого застыл на месте, вновь придержав недовольно заржавшего коня.

Девица раздевалась. Совершенно спокойно, и без всякого смущения. Абу-т-Тайиб в недоумении покосился на своих спутников: мол, что это с ней?! Головой скорбна?! Но спутники, похоже, воспринимали поведение девицы, как нечто само собой разумеющееся: гургасары без особого интереса наблюдали за обнажающейся девушкой, двое придворных беседовали вполголоса; Суришар вообще смотрел на него, Кей-Бахрама, дабы не пропустить момент, когда шах скомандует ехать дальше. Ни удивления, ни соленых шуток, ни ехидных ухмылок -- ни-че-го!

Поэт вновь перевел взгляд на девушку -- та уже успела раздеться полностью и теперь стояла перед шахом во весь рост, потупив глаза. Даже срамных мест не прикрыла ладонями. Ждала. Чего? Разрешения одеться? Приказа взять ее в шахский гарем? “Впрочем, что это я?! -- опомнился Абу-т-Тайиб.-- Откуда ей знать, кто перед ней? На лбу ж не написано: шах, мол... Интересно, у них тут женщины перед каждым встречным вельможей раздеваются, чтобы он их оценил?!”

Девушка была весьма привлекательна, но сейчас поэту было не до томления плоти. Однако, пора и честь знать. Надо подводить итог, а то ведь так и простоит до вечера голой!

И добро б летом!

-- Жалко, милая, что стар я, волосы проела плешь,
Ты -- моя бывшая юность, гордая красавица!

За такой финальный бейт впору было вытянуть самого себя плетью, но красавица все поняла правильно. И принялась одеваться. Ни улыбки, ни обиды не отражалось на ее лице: словно она просто исполняла обыденный долг. Скажем, обед готовила или одежду стирала.

Шах пожал плечами и махнул рукой спутникам -- поехали!

Уже подъезжая к воротам, он жестом позвал к себе ехавшего сзади Гургина.

-- У вас тут все девки такие бесстыжие?

-- Желание великого шаха -- закон,-- напыщенно проговорил маг.

-- Допустим. И даже можно припомнить сходную историю, которая произошла с Хасаном Кудрявым и юной фазариткой. Но откуда эта роза ваших цветников узнала, что я -- шах?!

-- Разве можно глядеть на солнце, не прищурясь? -- прозвучал удивленный ответ.-- И тем более не узнав светила?!

“Поговорили,-- досадливо подумал Абу-т-Тайиб, посылая коня вперед.-- От души.”

Перед глазами до сих пор стояла нагая девица; и чувствовать себя молодым было отчего-то неприятно.

Юный спახбед ехал позади шаха и не уставал тихо радоваться. Дважды его испытывали, и дважды он был слепей новорожденного кутенка! Уши Суришара сами собой краснели от стыда,

когда он вспоминал об этом. Ведь Судьба ясно указала ему его место! На два крупа за спиной в минуты покоя и рядом в годину бедствий! А он, глупец, не внял знамениям -- и только бесконечная доброта и мудрость Кей-Бахрама (да восславится его имя в веках!) спасли юношу от гибели. Более того: владыка лично вручил шах-заде кулах, пояс и перстень, приблизил к себе, оказав тем самым высочайшее доверие! Помнишь, неблагодарный: ты еще смел сомневаться в этом великом человеке, оспаривать его право на фарр и трон?!

Разве не узрел ты в Медном городе гнев Златого Овна, провозвестника явления истинного венценосца?!

И все же, лучше позже, чем никогда! Его, Суришара, счастье, что новый шах оказался человеком с большим сердцем и широкой душой. Впрочем, что значит -- ЕГО счастье?! Это счастье всего Кабирского шахства! Держава вновь процветает, смуты прекратились, подданные возрадовались и туго подпоясались поясами служения, наверстывая упущенное за время безвластия. Солнце, имя которому -- фарр-ла-Кабир, возшло над землями, согревая души людей. Все это -- лучшее доказательство того, что шахский кулах достался Кей-Бахраму по праву.

Хотя какие нужны доказательства зрячему?! Вон впереди едет владыка, чья меткость и крепость руки сегодня были несравненны -- и сияние священного фарра окружает его, подобно малому солнцу! Не даром же говорят, что шахский фарр -- частица Огня Небесного...

Кей-Бахрам поднял руку, и вся процессия послушно остановилась.

-- Этим путем мы уже ехали. Если взять от невольничьего рынка на северо-запад, мы доберемся до дворца?

-- Конечно, владыка! Дорога получится длиннее на полфарсанга, но ко дворцу мы выедем.

-- Не беда, что длиннее,-- усмехается шах.-- Должен же я познакомиться со своей столицей? За мной!

Они миновали ряды лавок, обогнули храм Огня Небесного, насквозь пересекли ремесленный

квартал -- и оказались на площади. Не на центральной, где били фонтаны в виде диковинных цветов, а на той, что в народе прозвали Судейской.

И поделом.

Здесь оглашались приговоры, после чего сразу, не теряя времени, вершилось правосудие.

Сейчас, к примеру, на площади шла казнь.

Очередных ловкачей с большой дороги, чья удача невовремя вильнула хвостом, ждала грустная участь. Мелких воришек пороли, маститым грабителям рубили десницу, а душегубам-полуночникам маячили острые колья. Не слишком толстые -- стыд терзать человека сверх должного!.. но и не слишком тонкие -- чтобы сдохли, успев хорошенько осознать перед смертью свою вину. Да и добрым молодцам урок: пусть смотрят на дружков. Авось, призадумаются, прежде чем выходить на дикий промысел, почешут в затылках...

Один разбойник уже исходил кровавым хрипом на колу: баловень судьбы! -- похоже, мучаться бедняге оставалось недолго.

Второй кол с насаженным на него преступником как раз опускали в заранее приготовленное углубление. Казнимый пока держался: скрипел зубами от боли, но молчал. Ну-ну! Скрипи, герой, поглядим, надолго ли зубов хватит! За всю историю Кабира лишь разок случилось чудо, когда душегуб проторчал на казенном колу больше полутора суток, и отвалил в ад, так и не проронив ни звука.

Да и то, скорее всего, палаческая сказка.

Зато с третьим приговоренным (видимо, главарем, ибо кол для него приготовили заметно толще, чем для двух первых) вышла заминка. Когда процессия въехала на площадь, расплескав конями ряды зевак, двое дюжих стражников пытались завалить детинушку, дабы палачи управились с колом. Но парень неожиданно вырвался, пнул оплошавшего стража ногой в живот -- тот улетел с помоста спиной в толпу; плечом отшвырнул другого и попытался освободиться от сырмяти,

опутавшей руки.

Пришлось стражникам-друзьям бросать кол на попечение заплечных и хвататься за копья. Но широкие жала миновали дерзкого: еще чего! -- даровать преступнику легкую смерть?! Пусть и не надеется! Два древка с размаху обрушились на бока разбойника; тот пошатнулся, но устоял. Нырнув под очередной удар, парень кинулся на врагов, брыкаясь хуже дикого жеребца. Да, будь ремень на его руках податливей, выбил бы удалой душегуб у жизни последний фарт. А то и с собой кого-нибудь прихватил, в пекло.

Ах, ремень, сыромять моченая...

Палач ловко налетел на голого парня сзади, сбил с ног, навалился потной тушей... И мигом получил связанными руками в ухо. Они покатались, вынуждая стражей прыгнуть в стороны; и зеваки принялись орать во всю глотку, подбадривая дерущихся.

Когда еще увидишь подобное зрелище?!

-- Кто этот буян? -- осведомился вдруг Кей-Бахрам.

-- Он разбойник, владыка,-- брезгливо поджал губы Гургин.-- К подобному отребью я испытываю лишь презрение.

-- А мне нравится,-- возразил шах.-- Один, со связанными руками... Таких не на колья сажать, а в седло! Эй, Суришар, отличный бы вышел юз-баши твоим "волчьим детям"! -- цепляться за жизнь тоже уметь надо...

Суришар с обожанием внимал Кей-Бахраму. Вот достоинство шаха -- сам доблестный воин, и чужую доблесть уважает! Пусть даже ее проявил презренный разбойник, воздев стяг мятежа над головой непокорства. Впрочем, нет, какой же он теперь презренный разбойник -- разве шах высказался недостаточно ясно?!

Как и следовало ожидать, монаршая воля остановила побоище. Палач взмахнул тесаком, который минутой раньше успел выхватить, и узы лопнули. Разбойник проворно отскочил к краю

помоста, готовясь защищаться и недоумевая: новая забава? везение? случай?! Эй, подходи-налетай, глотки перегрызу!

Суришар, улыбаясь, следил за парнем. Молодец! Хотя и не понял ничего, а молодец. Впрочем, в горячке боя, когда рвешь душу в клочья, это простительно. И все же -- странно...

Разбойник дернулся, словно от ожога: и окаменел. Прямо так и окаменел, в теплом плаще с меховым подбивом, который кинул ему на плечи подоспевший десятник гургасаров.

-- Пойдем,-- “волчий сын” с уважением, но настойчиво взял парня под локоть, и тот, вконец растерявшись, не стал противиться.

Толпа предупредительно расступилась.

Суришар знал, что ему надлежит делать. Он кликнул нужного человека из свиты -- и вот уже молодой спяхбед подъезжает к шаху, почтительно протягивая владыке сотничьи знаки отличия: высокую шапку с венцом-кулахом и наборной пояс с ножнами кинжала.

-- Изволь, мой шах...

-- Что?! -- хмурится шах, с изумлением глядя на поданные регалии.

Кей-Бахрам передумал?! Да нет, Суришар бы это понял сразу!

-- Владыка даровал помилование этому человеку. Вот пояс и кулах для производства в юз-баши, “главу сотни”.

На мгновение лицо шаха удивительно меняется; и почти сразу его озаряет усмешка.

-- А что, приятель? И произведу! Хаййя! -- жил в разбое, жил в набеге, как за пазухой у Бога, пусть судьба моя убога, нынче ж буду сотником! Давайте его сюда!

-- Падай, ниц падай! -- шипит “волчий сын” на ухо бывшему разбойнику.-- Совсем голову потерял, да?! Это же сам великий шах Кей-Бахрам! Он милует тебя и производит...

До парня наконец доходит, и он неуклюже валится ниц.

Гургин, подъехав к шаху, что-то шепчет ему на ухо, но владыка только досадливо

отмахивается, и до Суришара долетает обрывок возгласа:

-- ...на себя посмотри!

После чего ошалевший от счастья разбойник получает кулах и пояс юз-баши.

Суришар улыбается. Сегодня хороший день. И завтра будет хороший. Теперь всегда будет сплошной праздник.

Всю жизнь.

Шах-заде едет на положенном расстоянии, созерцая спину Кей-Бахрама, и улыбается.

4

-- Нового юз-баши -- в мои покои. И подать нам ужин.

“Прости меня, Всевышний, но к твоим милостям привыкаешь быстро,” -- Абу-т-Тайиб поудобнее устроился на тахте в ожидании гостя и ужина. Отметив, что гостя он ждет больше. Потому что до сих пор терялся в догадках: как могли палач и стражники сквозь гомон толпы услышать его... нет, не приказ даже -- так, мысли вслух? Что у них, уши слоновьи?! И, тем не менее: освобожденный от пут разбойник мигом оказался рядом, а верный (?!) Суришар нес в клюве пояс с кулаком. Ну, с регалиями ладно, небось, все время за шахом это добро возят, на всякий случай; зато все остальное...

Очень странно. Колдовством пахнет! -- или опять-таки заговором.

Е рабб, но тогда бородавчатый маг Гургин здесь точно ни при чем: старик явно хотел продолжения казни! С одной стороны, все ясно: советника язык кормит, а совет не производить разбойника в юз-баши гургасаров был вполне разумным. Если бы не доводы, которые старик шептал на ухо Кей-Бахраму:

-- Посмотри на его глаза, мой шах! Он же “небоглазый”! Нельзя...

Хирбеду, значит, “небоглазым” быть можно, а юз-баши -- нельзя? Разумеется, Абу-т-Тайибу

было хорошо известно, что большинство голубоглазых от роду-веку -- мошенники и плуты, и вообще люди ненадежные, спроси любого араба от Дар-ас-Салама до аль-Андалуса! Но приводить такой довод, да еще в делах государственных... на себя бы посмотрел!

О чем Кей-Бахрам и не преминул заявить упрямому старцу, заставив последнего прикусить язык.

Что же касается разбойника... Парень действительно понравился Абу-т-Тайибу. И не только тем, что сражался за свою жизнь почище обложенного охотниками барса. Поэт нутром чувал: разбойник может ему пригодиться. Это был человек, который не признал в нем шаха с первого взгляда! И участия в заговоре новый юз-баши принимать никак не мог.

А значит, будет говорить правду.

Абу-т-Тайибу очень нужна была эта правда, какой бы она ни оказалась.

-- ...Позволит ли... э-э-э... добра шаху навалом!

У входа распростерся давешний разбойник. Поэт обратил внимание, что новоиспеченный юз-баши облачен уже в форменные шаровары и куртку-абу.

Пояс сверкал серебром, а шапку с кулаком он смущенно тискал в кулаке.

-- Заходи, юз-баши! Садись. Сейчас ужинать будем.

Парень встал, нацепил шапку на макушку и остался стоять на месте.

-- Сюда иди, говорю,-- рявкнул Абу-т-Тайиб, и это возымело действие: разбойник-сотник, не посмев послушаться, осторожно примостился на тахте напротив.

Замер, глядя в пол, и не зная, куда девать здоровенные, похожие на грабли руки. Такими только и грабить! Чем парень до последнего времени, по-видимому, и занимался.

-- Как тебя зовут?

-- Дэв... Ой! Не гневайся, твое шахское величие! Худайбег я... Худайбег из Ширвана.

-- Худайбег аль-Ширвани, значит. А Дэв -- это, надо полагать, кличка?

-- Кличка, твое шахское... дружки прозвали.

-- Разбойники, как и ты?

-- Не, не как я. Я у них за курбаши был,-- честно признался Худайбег, разведя ручищами.

Его, видать, самого изумляло: из кур-баши на кол, с кола -- в юз-баши... был пожиже, стал погуще!

Чудны дела твои, Огнь Небесный!

-- Грабили, значит?

-- Грабили,-- с охотой подтвердил сотник.

-- Убивали?

-- Бывало,-- понуро кивнул Худайбег.-- Я в разгуле с молодых ногтей, первого своего в девять лет приколол, копьём-то... старый курбаши -- родитель мой. Ты, шахское твое, вели гулямам вернуть копьёцо, оно мне по руке... А я теперь за тебя по пять вражин за раз нанизывать стану, ты уж не сомневайся!

-- Позволят ли великий шах внести ужин? -- вкрадчиво мяукнули за дверями.

-- Давно пора! -- улыбнулся поэт.-- Вноси, пока мы с голоду не померли!

“И когда это они фазанов успели зажарить?” -- подивился он, наблюдая, как слуги проворно расставляют на дастархане многочисленные блюда, блюда, блюдечки, и великое множество чаш с кувшинами.

Подобным ужином можно было накормить до отвала человек восемь.

Когда слуги тихо удалились, прикрыв за собой двери, поэт, как и положено гостеприимному хозяину, первым разломил поджаристую лепешку.

Протянул часть Худайбегу:

-- Ешь. И не бойся ничего. Не для того с кола снял, чтоб отравить. Нет шаха, нет душегуба --

есть хозяин и гость. Понял, оглобля?!

Парень несмело улыбнулся и жадно впился зубами в предложенную лепешку. Взглянув в голодные глаза юз-баши, шах подумал, что, может, слуги и не зря принесли столько еды!

Вскоре захрустели фазаньи кости, горячий жир потек по пальцам и подбородкам. Было отдано должное и молодой зелени, и уксусному супу с барбарисом, и форели в сброженном соке граната -- всего и не перечислишь! Добрались и до серебряного кувшинчика с крепкой настойкой. После второго кубка лицо юз-баши порозовело, парень расслабился и окончательно бросил стесняться.

Чего поэт и добивался.

Аппетит у юз-баши оказался подстать кличке: дэв-великан помер бы от зависти, глядя на столь завидную прожорливость! Однако, всему в этом мире есть предел, кроме осведомленности и могущества Аллаха -- и Худайбег удовлетворенно рыгнул, откинулся на подушки и замер с кубком в руке.

Пришло время беседы.

-- Ну, приятель, а теперь поведай мне: за какие грехи едва на кол не угодил?

-- Твое шахское...-- в брюхе у парня громко забурчало.

-- Мое шахское тебя уже помиловало. Отвечай!

-- Гонца я твоего порешил. С этим... с фирманом о восшествии. Я ж не знал, что он гонец!

Думал, кисет динаров возьму... а он, баран, за сабельку! Я копьём ширнул, стал обыскивать, тут грамотка и всплыла. А дружки мои (бывший душегуб разгорячился и даже хватил кулаком о стол, заставив посуду задрезбездать), гвалт подняли, отродья трусливые! Что ты, кричат, наделал, сын шакала! Это я-то сын шакала, отвечаю?! Ты, ты! Зачем шахского посланца кончил? Не хотим из-за тебя, дурака, в пекло! -- и всем скопом как навалются!

Лицо парня пошло багровыми пятнами: от возбуждения и выпитой настойки.

-- Ты действительно не знал, что гонца встретил? -- с напускной строгостью поинтересовался

Абу-т-Тайиб.

-- Клянусь Огнем Небесным, не знал, твое шахское! Малахай с лисьим хвостом он, видать, потерял, а я ж не провидец!

-- А твои дружки? Они что, провидцы? Или им не един финик: гонец, не гонец?!

-- Дружки? -- с подкупающей искренностью растерялся Худайбег.-- Суки они, а не провидцы!

Сам диву даюсь: гонца, кричат, порешил, за гонца нам всем мука мученическая... а с чего взъярились, не ведаю!

Дыхание его участилось, стало хриплым, по лицу стекали капли пота.

-- Истину говорю, твое шахское: не ведаю! Набросились они на меня, повалили... много их было, а то б я отбился. Связали по рукам-ногам, и к судейскому дому прямо под дверь кинули. Вместе с копьцом; а к древку писульку ниткой примотали: кто таков, мол, и за какие грехи! Нашелся один гад, грамотный... поймаю -- удавлю!

Парня била крупная дрожь, пот по лицу тек уже ручьями, но поэт не придал этому значения, размышляя вслух:

-- Значит, дружки тебя и повязали? Ох, врешь ты, приятель! Не водится такого промеж гулящими. Ножом пырнуть, если чем крепко не угодил -- могут, но чтоб судье, с запиской... И за что? Ты шахского гонца не узнал, а душегубы за гонца горой; и меня ты не сразу признал, когда другие за фарсанг... Как мыслишь, юз-баши? Сотник, что с тобой?!

Худайбег медленно заваливался на бок. Глаза его закатились, страшно сверкая белками, лицо было уже не красным, а лилово-синим, похожим на бычий пузырь. Бывший разбойничий главарь дернулся, упав с тахта на пол, высокая шапка с дареным венцом-кулахом отлетела прочь -- и дыхание парня вдруг стало ровнее.

Однако сознание не вернулось.

“Отравили, дети ехидны! -- вскочив, Абу-т-Тайиб едва не схватился за голову: столь

очевидным было покушение на нового юз-баши.-- Фазаны! Начинили банджем!.. да нет, мы же чуть ли не из одной плошки! Хотя мало ли что ему могли подсунуть до того, как привести в мои покои!”

-- Лекаря! Быстро! -- раскатился по дворцу львиный рык.

5

Лекарь-хабиб морщил личико престарелого младенца, долго тряс куцей козлиной бороденкой, осматривая бесчувственного Худайбега. Принюхивался, прислушивался. Потом велел своему молодому ученику раздеть больного -- и шах еще подивился, каким здоровенным оказался разбойник. Абу-т-Тайиб стоял рядом и с восхищением глядел на гору налитых силой мышц. Не зря парня “Дэвом” прозвали! Такому стражей кидать -- что детям палые листья!

Впрочем, сейчас Худайбег был беспомощней дитяти, и козлобородый хабиб из кожи вон лез, стараясь привести сотника в чувство.

Не получалось.

Но все же кое-чего лекарь добился: когда парня раздели и растерли мазью, а в полуоткрытый рот влили каплю-другую резко пахнущего снадобья, краснота покинула лицо юз-баши. Он гулко вздохнул, пустил ветры, и болезненное забытие плавно перешло в здоровый сон.

-- Пусть спит,-- решил Абу-т-Тайиб.-- Уложите его в покоях по соседству с моими, и чтоб кто-нибудь за ним присматривал!

Хабиб не посмел перечить, а приглядывать за больным оставил своего ученика, заверив владыку: юноша достаточно преуспел в искусстве врачевания и в случае чего сумеет оказать помощь.

Наконец лекарь ушел, в покоях воцарилась благоговеянная тишина, но шах еще долго не мог уснуть. Хотел было распорядиться прислать к нему одну из наложниц -- но передумал.

Любви не хотелось; слишком много ее было вокруг, любви-то -- обрыдло.

Неужели происки Гургина?! Не сумел уговорить шаха продолжить казнь -- так отравить парня решил? Надо будет спросить Худайбега, когда очнется: не давали ли ему какой-нибудь еды или питья перед визитом к шаху. И держать юз-баши при себе, рядом, не отпускать ни на шаг -- уморят ведь, твари верноподданные!

Наконец шах заснул, и ему приснился сон.

Он шел по длинному, нескончаемому коридору, а вдоль стен истуканами стояли люди -- все, как на подбор, голубоглазые. И каждому шах вручал пояс, кулах и перстень, пояс, кулах и перстень, пояс, кулах и...

Крик.

Гулкий, протяжный; многоголосый.

Осколки неба вздрагивают в бойницах, отороченных черной плесенью; синь течет, выплескивается, заливают коридор, дворец, мир...

Шах оглянулся -- и увидел. Те, кому он вручил знаки отличия, один за другим с хрипом валились на пол, изо рта у них шла кровавая пена, глаза тускнели, останавливались... Шах закричал, вплетя в общий крик и свою ноту -- после чего проснулся.

Было утро, и Абу-т-Тайиб, мучимый дурными предчувствиями, заторопился проведать новоявленного юз-баши.

Однако, к счастью, предчувствия оказались ложными. Растирая красные от бессоницы глаза, ученик хабиба доложил, что с пациентом все в порядке, он уже проснулся и чувствует себя хорошо.

“Слава Аллаху!” -- пробормотал поэт, погнал ученика отсыпаться и шагнул в покои юз-баши.

На Худайбеге были одни шаровары из синей ткани -- он еще не успел до конца одеться. Узрев шаха, парень с грохотом лавины в горах пал ниц, но Абу-т-Тайиб мигом заставил его вскочить на ноги.

Незло пнул под ребра и скомандовал:

-- Вставай!

-- Хорошо спалось, твое шахское?..-- торопливо забормотал Худайбег.

-- Лучше некуда. Ты-то как, сотник?

-- Жив покамест, твое шахское! Жрать только хочу.

-- Ну и славно. Одевайся. И без промедления ко мне -- завтракать вместе будем.

-- Ух ты! -- просиял Худайбег, явно даже в мыслях не вина Абу-т-Тайиба за вчерашний приступ.-- Ты, твое шахское, только намекни: я кому хошь ноги из зада-то повыдергаю!

Парень искренне старался хоть чем-то отблагодарить своего спасителя. Щенок. Да, душегуб и грабитель, но щенок. Радостный, открытый, разве что хвостом не виляет. Не было в нем тупой покорности и раболепия, а ухмылка вдруг напомнила Абу-т-Тайибу прошлую ненависть в глазах Суришара.

Обе были честными: и радость, и ненависть.

Разве что ненависть была, да сплыла, а радость -- есть.

Абу-т-Тайиб направился к выходу из покоев. На пороге он оглянулся и, оборачиваясь, вспомнил, что это -- плохая примета.

Как в воду глядел!

Худайбег успел накинуть куртку, подпоясаться, и сейчас как раз одевал шапку с кулаком. При этом лицо его было мокрым от пота, а на щеках начали проступать знакомые багровые пятна.

Ряды “небоглазых” вдоль стен, кулах, пояса, падающее тело...

-- Снять! Быстро! Шапку скинь, я сказал! -- поэт еще не успел осознать до конца собственную догадку, а слова уже сами рвались из горла.-- Теперь -- пояс! Да не лишаю тебя свой милости, не лишаю! Снимай, Дэв! Ну что, полегчало?

-- Полегчало! -- изумленно шепчет юз-баши, во все глаза глядя на своего благодетеля.

-- Скажи слугам, пусть выдадут тебе другой пояс и шапку. Обычные. Будут упрямиться,

передашь: воля шаха. И зайдешь попозже -- шах желает поразмыслить. А эту... эту дрянь больше не одевай.

Абу-т-Тайиб хотел забрать регалии, но тут ему вспомнился скоропостижно скончавшийся судья; и он передумал.

-- Не одевай, но и не выбрасывай. Пусть тут лежат.

И шах вернулся к себе, но спокойно поразмыслить ему не дали.

На пороге возник слуга.

-- Дозволит ли мне владыка говорить?

-- Ладно, говори, шайтан с тобой. Что там еще?

-- Хирбеди Нахид нижайше молит владыку об аудиенции.

-- Хирбеди Нахид? -- Абу-т-Тайибу сразу вспомнилась юная голубоглазая жрица, так до конца и не смирившаяся с тем, что новым шахом станет он, чужак с того света.

Голубоглазая. Снова -- голубоглазая...

-- Я приму ее,-- кивнул слуге Абу-т-Тайиб.-- Зови.

Глава восьмая,

где используются новые способы наказания ослушников, исследуется польза от подражания Харуну Праведному, но по-прежнему никоим образом не освещается удивительный факт, что если первый день года -- вторник, день Марса, то это указывает на многую гибель людей, дороговизну злаков и малость дождей, а также отсутствие рыбы и удешевление меда с чечевицей; еще умножится падеж ослов, а Аллах лучше знает.

-- О красавица, про которую сказано: “Если поет и пляшет, то искушает, если же надушится и приукрасится -- убьет наповал!” Раскрой уста гранатовые, предназначенные для речей сладких и приятных для слуха -- шах внимает тебе!

Замечательно! Абу-т-Тайиб разглядывал жрицу, простершуюся у его ног, и получал истинное наслаждение. Даже в такой позе, долженствующей выражать крайнюю степень смирения, Нахид ухитрилась выглядеть дерзкой!

Талант!

Дар Божий!

Хотелось позвать Гургина, дабы маг тоже получил свою часть удовольствий; но поэт раздумал. Обойдется, упрямец. Нечего ему на девок пялиться. Наедине поговорим, нам посредники излишни...

-- Ну, вставай, свет очей моих, вставай скорее!

Словно вихрь взбил песчаный смерч: девушка взлетела на ноги, плеснув кистями дорожной шали,-- и наотмашь ожгла Абу-т-Тайиба плетью взгляда. После чего, как и положено рабе на аудиенции у владыки, свет очей скромно потупила взор.

Поэту даже показалось, что он слышит явственный скрип. Взор ни в какую не желал потупляться, а о скромности вообще не шло речи. Так ржавый ворот визжит, сопротивляясь насилию. Так упрямится под ветром старая акация. Так смотрит на захватчика пленный воин, и ноздри пленного бешено раздуваются от бессильной злобы. Глаза девушки сверкнули голубыми углями, обдав поэта ненавистью, откровенней которой может быть лишь плевков в лицо. И Абу-т-Тайиб мысленно поздравил себя: наконец-то перед ним человек, который его искренне ненавидит. До сих пор. Не взирая на перемены и изменения.

Ненавидит и не может скрыть чувств.

О счастье! Разговор обещал быть весьма занимательным.

-- Не соблаговолит ли владыка ответить... Правда ли, что верховный хирбед Гургин получил кулах главного вазирга?!

Да, не очень-то ты, девочка, привыкла говорить с владыками. Смотришь прямо, говоришь прямо; там, откуда я родом, за один такой вопрос зовут палача и велют расстелить “ковер крови”! В лучшем случае, палок дадут. По пяткам. Знаешь, как это делается? Берется палка с ременной петлей посередине, некие прелестные ножки захлестываются сей петлей, а палка перекручивается -- чтоб ремень как следует врезался в щиколотки. Потом палка вздергивается к небу, а палачи берутся за гибкие средства вразумления... Но я обожду и с ковром, и с палками. Мне интересно, что ты скажешь дальше, хотя я и догадываюсь об этом.

Я отвечу.

-- Вполне возможно, несравненная, вполне возможно. Все в воле Творца и шаха, хоть шах и ничто пред Господом миров.

Похоже, девочка, ты только-только приехала -- вернее, примчалась! -- в Кабир. И еще не знаешь, что Гургин великолепно обходится без кулаха и пояса. Это правильно, ни к чему тебе лишние сведения, вольный язык быстрее развязывается.

-- Владыка! Во имя Огня Небесного -- или, если хочешь, во имя Творца, которому ты поклоняешься... Не делай этого!

Мольба?

Клянусь низвержением идолов, мольба!

И едва ли менее искренняя, чем ненависть.

Взгляд “небоглазой” заплывает первыми каплями дождя, соленого ливня, которому только дай хлынуть на иссохшую землю! -- ударит в тысячу плетей, запляшет по трещинам, вскрикивая от сладкой боли! Прости меня, девочка, или не прощай, если тебе так больше нравится, но я давно уже

не боюсь вида женских слез, и ненависти тоже не боюсь, а вот ты боишься! И не за себя, а за мага с бородавкой.

Он мне руки лобызал, скорпионом ползал по коврам, а чем ты расплатишься за милость?

-- Я предлагаю Гургину высокий пост, славу и почет. Неужели ты считаешь своего учителя недостойным славы? -- Абу-т-Тайиб всплеснул рукавами от притворного удивления.

-- Ты убиваешь его! Это не слава и почет, это смерть, это хуже, чем смерть!..

Нахид осеклась и крепко-накрепко зажала ладошками рот. Поэт смотрел на девушку, и думал, что царства рушатся вот из-за таких: честных и открытых. Самый опасный сорт народа. Любовь, ненависть, долг и забота, а что в итоге? -- сболтнут лишнее, и начинают каяться, когда уже поздно.

С лицемерами проще.

-- Окружной судья Пероз умер, когда я ЛИШИЛ его должности,-- медленно проговорил Абу-т-Тайиб.-- Это я еще как-то могу понять. Но ты, красавица, утверждаешь, будто я убиваю Гургина, НАЗНАЧАЯ его вазиргом! Рассей же туман, застилающий мои очи! -- и, может быть, тогда я изменю свое решение.

-- Никогда,-- листвой под ветром прошелестел ответ.-- Ты чужак. Но даже будь ты природным кабирцем из шахского рода... Никогда.

-- Ладно. Тогда сними шаль.

Хирбеди отпрянула, недоуменно хлопая ресницами.

-- Я решил сыграть с тобой в старую игру владык. Если ты не захочешь отвечать на мои вопросы, за каждый отказ я заберу у тебя часть одежды. По моему выбору. И в конце концов отправлю восвояси.

Абу-т-Тайиб помолчал и добавил:

-- Голой. Надеюсь, ты понимаешь, что я не шучу?!

Смерч взметнулся во второй раз, но сейчас поэт был готов. Он даже позволил себе

рассмеяться, повернуться к бегущей Нахид спиной и прошествовать к столу. Как ни в чем не бывало. С аудиенций правителей не убегают, когда тебе вздумается; особенно если у входа несут караул Яджудж и Маджудж, великаны мои замечательные! Грохот, стук, лязг, и когда Абу-т-Тайиб снова позволил себе обернуться -- строптивая жрица стояла у запертых дверей.

Запертых, ясное дело, снаружи.

-- Я сказал -- шаль! -- повторил поэт, лениво играясь с пеналом, найденным в башне.-- Живо! Или ты предпочитаешь, чтобы я это сделал сам?!

Скомканная шаль полетела ему в лицо.

-- Отлично. И не сверкай на меня глазками, я тебе не хворост, не вспыхну. Скажи лучше вот что... Не все “небоглазые” -- жрецы, но все жрецы -- “небоглазые”. Я правильно понял?

Молчание.

-- Сандалии! Будь добра, моя пери,ними сандалии -- я хочу взглянуть на твои босые ножки!

Воплощенная Гордость стояла у дверей. Вот она гордо наклонилась, гордо ослабила ремешки сандалий и гордо запустила их, одну за другой, в голову владыки.

Первую сандалию Абу-т-Тайиб поймал на лету, а вторая и без того врезалась в стену.

-- Умница. Надеюсь, ты понимаешь, что я могу отдать тебя гургасарам? Или велеть Суришару в моем присутствии объездить строптивную кобылицу?! Полагаешь, мальчик воспротивится?

Гордость по имени Нахид вздрогнула. Правильно, девочка, наш с тобой шах-заде не воспротивится. Если я прикажу, он выполнит приказ; и, возможно, даже с радостью.

Это еще один вопрос, на который я хочу получить ответ -- но не у тебя.

Всему свое время.

-- Значит, ваши тайны тебе дороже страданий Гургина и твоей собственной участи? Хорошо. Но когда я надеваю кулах на шах-заде, то мальчик сияет новеньким динаром; когда я надеваю кулах на дряхлого мага, он брыкается, будто ишак, которому под хвост сунули чертополох -- а потом

являешься ты, и ужас плещет в твоих хорошеньких глазках! Зато покойный судья Пероз, чьи глаза благородно-карие, скоропостижно уходит к праотцам, едва я ЛИШУ его кулаха! Ты не хочешь объяснить мне все эти чудеса? Не хочешь, моя пери... Рясу! Снимай рясу или что там у тебя надето!

Ряса упала на пол. Руки девушки судорожно вцепились в изар -- повязку на чреслах; Нахид справедливо ожидала, что следом за рясой придет очередь изара. О, строптивая хирбеди была хороша, она была чудо как хороша в гневе и смущении, словно пленная тигрица! Маленькая грудь, нежней молодых листьев аргавана; стрелы ресниц трепещут, грозя обронить алмазы слез... что там еще? Аромат мускуса и амбры? Виноградинки бьют розу? -- в смысле кончики пальцев трогают щеку?

-- Только раз бывает праздник, только раз весна цветет,-- поэт вольно закинул руки за голову, и потянулся, смакуя слова великого Рудаки,-- взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник в сердце льет! Ответь же мне скорей, любимая: кто я? Кто твой возлюбленный?!

-- Тварь! -- выплюнул рот Нахид.-- Мерзавец!

-- О-о-о! Замечательно! Раз в году блистают розы, расцветают раз в году -- для меня твой лик прекрасный вечно розами цветет! Так кто же я еще?

-- Сволочь! Палач!

-- Я сгораю от счастья! Только раз в году срываю я фиалки в цветнике -- а твои лаская кудри, потерял фиалкам счет! Нет, тут Рудаки что-то напутал, ведь фиалки синие, а кудри... ну да ладно! Еще! Кто я, моя любовь?!

-- Червяк! Дождевой червяк! Проходимец!

-- По-моему, тебе жарко в изаре... Велеть снять? Только раз в году нарциссы украшают грудь земли -- а твоих очей нарциссы расцветают круглый год!

Абу-т-Тайиб вдруг прыгнул прямо через стол, забыв о возрасте и сане; он оказался совсем рядом с обнаженной девушкой, и пальцы когтями вцепились в бархатные плечи.

Лицо его треснуло провалом рта, и Нахид ясно увидела новые зубы на месте выбитых передних: острые, пока еще маленькие кусочки кости...

-- Кто я!

-- Собачий сын!

-- Еще!

-- Мучитель!

-- Еще!

-- И еще... еще... Еще ты шах Кабира, Кей-Бахрам, будь ты трижды проклят!

-- Одевайся!

-- Что?!

-- Одевайся, говорю! И пошла вон! Вон!!!

Только тогда она заплакала.

Уже в галерее ее догнал окрик шаха. Ударил в спину, ухватил за край спешно накинутых одежд. Нахид обернулась, всхлипывая: проклятый чужак стоял на пороге своих покоев.

Рядом возвышались идолы-телохранители, слепые и глухие ко всему, кроме безопасности владыки.

-- Извиняться не стану,-- устало бросил шах, и девушка задохнулась: столько муки крылось в сказанном.-- И вознаграждать не стану. Я получил ответ; мне достаточно. Прощай.

-- Я ничего не сказала тебе! -- крикнула Нахид, чувствуя, как голос предательски дрожит.-- Ничего!

-- Сказала. Одни говорят словами, другие -- чем придется. Ты честно ненавидишь; и честно зовешь меня шахом. Ты раздеваешься иначе, нежели прочие женщины ваших благословенных земель. Это ответ. Пусть я не до конца разобрался в нем, но я разберусь. Обязательно разберусь. И не бойся

за Гургина: он прекрасно обходится без кулаха. Прежде чем просить об аудиенции, тебе следовало бы встретиться с учителем лично. Уходи.

Девушка бежала по галерее, стора от стыда и гнева, а вслед несло:

-- Не цепями приковала ты влюбленные сердца -- каждым словом ты умеешь в них метать огонь и лед!.. огонь и лед! О златоуст Рудаки, слепец со зрячим сердцем! -- как же хорошо ты знал женщин... Эй, стой! погоди! ты забыла сандалии!

И сандалии, брошенные сильной рукой, упали перед бегущей хирбеди.

2

Вечером посыльный ускакал в город с приказом: “Без главного советника не возвращаться!”

Гургин явился настолько быстро, что у поэта закралось подозрение: старик все-таки настоящий колдун и примчался сюда в летающем кувшине. Или все это время торчал под дворцовыми воротами. Ждал вызова. А заодно подслушивал и собирал сплетни. Интересно, он успел переговорить со своей защитницей Нахид, оскорбленной в лучших чувствах?

И если да, то к каким умозаключениям пришел?!

Однако вдаваться в расспросы Абу-т-Тайиб не стал.

-- Распорядись, чтобы мне принесли другую одежду. Караванщика или ремесленника средней руки, что ли... Да и сам переоденься. Мы отправляемся в город. Вдвоем,-- поэт стоял над распростертым ниц стариком и ждал возражений.

Но возражений не последовало.

-- Внимание и повиновение! -- отозвался хирбед с пола, вскочил, как змеей ужаленный, и вихрем умчался выполнять приказание.

“Виделся-таки с нашей красавицей, хитрец бородавчатый! -- уверился поэт, гордо подкручивая

ус.-- Знает, что за упрямство бывает... а ну как раздену, да не в покоях, а прямо на майдане!”

Бахвальство утешало, делая жизнь лже-шаха вполне сносной. Но мудрецы полагают, что грешника Аллах сперва помещает в рай, дабы после геенна показалась несчастному во сто крат горше! Если мудрецы правы...

Возвращение мага избавило Абу-т-Тайиба от грустных мыслей.

Принесенная одежда оказалась выше всяческих похвал: добротный, но несколько поношенный чекмень, волчья джубба, похожий на воронье гнездо малахай с космами назатыльника; шаровары подшиты сзади кожей, для удобства в скачке, и растоптанные сапоги выглядят еще вполне крепкими...

Обувка пришлось как раз впору -- Гургин превзошел самого себя.

Да и маг преобразился: лохматая бурка поверх засаленного казакина и куколь из войлока-стеганки делали его почти неузнаваемым.

Так и подмывало кликнуть стражу и бросить проходимца в зиндан.

-- Молодец! -- похвалил старца Абу-т-Тайиб, заворачивая в кушак шелковый кисет с горстью динаров.

Потом взгляд поэта скользнул по стене и мимо воли зацепился за тяжелый ятаган. Красавец-клинок просто молил с ковра: возьми! Да и отправляться в народ безоружным (нож-засапожник -- не в счет) хотелось мало. Я вам не Харун Праведный! Впрочем, у Праведного в спутниках ходил его любимый палач, а мы по бедности магов таскаем...

-- Скажи, Гургин, многие ли видели этот ятаган? И знают, что он принадлежит шаху?

-- Немногие, владыка. Сей ятаган вообще крайне редко покидает шахские покои.

-- Очень хорошо. Значит, по нему меня не смогут опознать в городе?

-- По ятагану -- не смогут,-- маг задержался с ответом, но Абу-т-Тайиб не обратил внимание на

задержку.

Он бережно снимал оружие со стены. И думал, что надо будет вызвать хорошего мечника:
сбить с рукояти драгоценную мишуру.

Рубинам место в оправе перстней.

-- Надеюсь, во дворце отыщется какая-нибудь неприметная калитка, посредством которой мы
выпустим на волю скакуна нашей затеи?

-- Разумеется, мой шах. И не одна.

-- Веди.

* * *

Кабир встретил их вечерней сутолокой и гомоном.

Вздохнув полной грудью, поэт с радостью окунулся в родную стихию. Ему даже на миг
показалось, что он гуляет по Басре, славной пальмовыми рощами; вот сейчас они выйдут на площадь
Мирбадан, где придется ввязаться в очередной диспут с каким-нибудь тайным манихейцем-еретиком
-- а после доводов и поношений, где острота рифм служила порой лучшим аргументом...

Абу-т-Тайиб никогда не думал, что ему так будет недоставать всего этого.

Они с Гургином заходили в лавки, приценивались к товарам, причем поэт то и дело яростно
торговался из-за какой-нибудь безделицы вроде бронзовой пряжки или вышитого кисета. Гургин
больше молчал, лишь время от времени бросал язвительные реплики, хмурясь и норовя уйти -- чем
сбивал цену ничуть не хуже, а то и лучше Абу-т-Тайиба. Такой Гургин нравился поэту куда больше, и
вскоре он проникся к старцу искренней симпатией: спутник из жреца получился хоть куда! За словом
в сапог не лезет!

Как подменили человека...

Абу-т-Тайиб захлебывался от любопытства: новый город, новые люди, обычаи -- много ли увидишь и поймешь, проезжая по улицам со свитой? Совсем другое дело -- надев личину, окунуться в водоворот жизни, захлебнуться им, впустить в себя! Поражало одно: общее вежество, будто не в толпе идешь, а на занятиях по грамматике сидишь. Никто локтем не толкнет, на ногу не наступит, не облает вслед...

Едва шах успел подумать об этом, как пропахший трebuхой мясник с серьгой в ухе налетел на него, чуть не сбив наземь.

-- Неча под ногами путаться! -- ослабился детина, дохнув перегаром; и поперся себе дальше, расталкивая прохожих.

На мгновение Абу-т-Тайибу почудилось, что грубость мясника показная. Впрочем, отчего бы ей и не быть показной?! Особенно если детина входит в число квартальных заправил, и сохранять лицо для него важнее, нежели для шаха! Поэт ухмыльнулся, чем весьма изумил зевак, ожидавших драки, потер ушибленный бок и отправился дальше в сопровождении невозмутимого Гургина.

Чайхана, куда они ввалились заморить червячка, мало отличалась от своих басрийских и куфийских сестер. Чадный воздух был пропитан ароматами горелого масла, пряностей, чеснока и лука; обжигаясь, Абу-т-Тайиб глотал похлебку с мясом и хлебом, и она казалась ему вкуснее самых изысканных яств.

Даром, что ли, пророк сказал о такой похлебке: “Превосходство ее над иными кушаньями подобно превосходству моей младшей и любимой жены над прочими женщинами!”

Поэт отдыхал душой. Заговоры, интриги, тайны “небоглазых”, почтительность и раболепие, сомнения без надежд и вопросы без ответов -- все это осталось там, за стенами шахского дворца. Здесь же можно было вновь стать самим собой: бродягой-рифмоплетом, острословом и насмешником, забиякой, скорым на кулак и клинок, плоть от плоти этой шумной бессмысленной суеты, имя которой -- жизнь.

А смысл пусть другие ищут.

Ублажив чрево, они отправились дальше: проталкиваясь сквозь многолюдье центральных улиц, ныряя в кривые переулки, где воняло скисшим молоком, а покосившиеся дувалы в любой момент грозили обрушиться на головы редких прохожих, вновь выбираясь в толчею торговых рядов, пересекая майданы и, подобно червю, вгрызаясь в самую сердцевину яблока по имени Кабир.

Абу-т-Тайиб чувствовал город, как собственное тело.

Стоило ли удивляться?.. да, наверное, стоило, но не хотелось портить вечер свободы.

И даже Гургин позволил себе усмешку, когда поэт прямо на людной улице обернулся к магу и в голос продекламировал:

Говорят, что есть рай, говорят, что есть ад;

После смерти туда попадешь, говорят,

В долг живем на земле, взявши душу в займы --

И надеждами тщетными тешимся мы.

Но спасаясь от мук, и взыскуя услад,

Невдомек нам, что здесь -- тот же рай, тот же ад!

Золоченая клетка дворца -- это рай?

Жизнь бродяги и странника -- ад? Выберирай!

Или пышный дворец с избытком палат

Ты, не глядя, сменял бы на драный халат?! --

Чтоб потом, у ночных засыпая костров,
Вспомнить дни, когда был ты богат, как Хосров

И себе на удачу, себе на беду
Улыбнуться в раю, улыбнуться в аду!

Прохожие разразились восхищенными кликами, один подвыпивший рыбак даже стал звать Абу-т-Тайиба к себе, требуя воспеть его новую невольницу; а сам поэт отмахнулся от рыбака -- и на всякий случай протер глаза.

За поворотом впереди мелькнули золотое руно и круто загнутые рога; тихое бляенье донеслось оттуда, цокнули копыта -- и призрак исчез.

3

Стемнело. Кое-где зажглись масляные фонари, людей заметно поубавилось, зато объявились “Ночные псы” -- сытые бородачи, по самый шлем преисполненные собственного достоинства.

-- Спите спокойно, жители Кабира! -- голосили они, всюю тархтя деревянными трещотками; мертвый восстал бы из гроба, окажись стражи близ кладбища.

Поэт решил не испытывать судьбу. Еще сочтут подозрительными... И спешно затащил Гургина в темный закуток между какими-то амбарами.

Стражники протопали совсем рядом. Остановились. Бросили соленое словцо в адрес женщин, проветривавших на плоских крышах одеяла и ковры. Затем “Ночные псы” разразились громовым хохотом и отправились дальше.

-- Разгильдяи,-- шепнул Абу-т-Тайиб прямо в мосластое хирбедово ухо.-- Скажи мне на милость, где таких олухов вербуют?! А прячься тут не шах с советником, а парочка душегубов?

Советник искоса глянул на своего шаха, глаза мага странно блеснули, но в темноте Абу-т-Тайиб не обратил на это внимания.

Они выбрались из укрытия и быстро пошли прочь. Скоро впереди послышались голоса, затянули песню -- и поэт, не долго думая, зашагал в ту сторону. Люди веселятся? -- отлично!

Безмолвная тень мага волочилась сзади, явно не собираясь препятствовать.

Выбравшись на пустырь, Абу-т-Тайиб сразу оценил, что за компания здесь собралась. На всякий случай он покосился на Гургина: не пощадить ли старца, мало привычного к ночной гульбе? Однако старец являл собой воплощение спокойствия -- что само по себе было удивительно. Ибо вокруг костра, увлеченно плевавшегося в черноту неба огненными драконьими языками, сидели личности вполне однозначные. Таких зовут ловкачами, подразумевая под ловкостью нечто совсем иное, чем принято среди людей порядочных и уважаемых.

Вот только поэт никак не считал себя порядочным и уважаемым человеком. Особенно сейчас.

Поэтому и направился прямо к костру.

-- Кого там нелегкая несет на ночь глядя? -- проворчали навстречу; и отчетливо зашелестела сталь, покидая ножны.

-- Нелегкая носит стражников и бражников, а мы покамест своими ногами идем,-- ослабилась Абу-т-Тайиб прямо в чью-то рябую физиономию, подходя ближе.

-- Бражников, гришь? А нешто трезвый сюда сунется? -- рябой, наверняка снискавший славу местного балагура, решил не упускать случая поддержать репутацию.

От костра и дряхлой хибары неподалеку донеслись редкие смешки: опустить простофилю всегда занятно.

-- Это ты прав, рябчик! -- легко согласился поэт.-- Как в дерьмо пальцем! По твоей роже сразу

видать -- трезвый ни в жисть не сунется!

На этот раз хохот был куда громче: простофиля простофилей, а когда свой брат-плут в лужу ляпается, грех не засмеяться.

-- Веселый человек к нам пришел, однако! -- рябой поправил тюрбан и как бы невзначай мазнул рукой по самострелу за поясом.-- Видать, не простой ловкач-залетка, а предводитель! Садись, языкатый, гостем будешь. А дружок твой -- он тоже весельчак, вроде тебя?

-- Вроде себя,-- мрачно отозвался Гургин и поскреб ногтем свою замечательную бородавку.-- Только я лучше молчать буду. А то умрете все. От смеха.

То ли старец так шутил, то ли имел в виду что-то сугубо личное -- но больше Гургина не трогали и вопросов ему не задавали.

Совсем.

-- Ну ладно, раз явились -- с вас байка. О судьях, скрягах и лихих бродягах! Как у честных молодцов спокон веку заведено,-- крикнули от хибары.

-- А песня сойдет? -- ухмыльнулся поэт.

-- Песня? Эй, кочет, ты хоть кукарекать-то умеешь?

-- А сейчас узнаем. Не пробовал еще! Кочет поет, как хочет -- уселся б на кол, и то б не плакал!

Тут уж заржали в голос все.

-- Это у тебя что за штука? -- осведомился между тем Абу-т-Тайиб у чернявого парня, который развалился рядом на вытертой кошме.

-- Чанг. Вчера прямо с прилавка свистнул. Да только дребезжит, зар-раза! Выброшу, наверное... или продам. Олуху вроде твоей милости.

-- А ну, дай взглянуть. Вдруг куплю!

Чанг оказался родным братом лютни, привычной поэту. Единственно для хиджазского пения был настроен ниже, чем следовало бы: в ритме “сакиль первый” приходилось излишне напрягать

кисть, стараясь избежать упомянутого парнем дребезга. Но привередничать не стоило. Вор-музыкант поначалу с тревогой следил за пальцами Абу-т-Тайиба, когда те разом зажили собственной жизнью: умело подкручивали колки, пробовали строй, гуляли по ладам... Потом парень расслабился и даже восхищенно хмыкнул, ткнув рябого локтем в бок.

Рябой отмахнулся: не мешай, мол, дай послушать!

А Абу-т-Тайиб задумчиво перебрал струны,-- и вдруг, без всякого вступления, запел давнюю, сложенную им еще в Дар-ас-Саламе касыду, которая сейчас показалась более чем уместной.

-- Подобен сверканью моей души блеск моего клинка:

Разящий, он в битве незаменим, он -- радость для смельчака.

Как струи воды в полыханье огня, отливы его ярки,

И как талисманов старинных резьба, прожилки его тонки...

Долой тяжкие думы и тайные интриги! Долой весы и счеты, шахский венец и “небоглазых” упрямец; в ад загадки Кабира!

Песня!

Пой, чанг, звени струнами, шепчи о былом, оставшемся там, за горами без названия и смертью без могильного тлена; о, должно ли скорбеть великой скорбью и печалиться великой печалью, если по свету еще гуляют слова, достойные быть произнесенными?!

-- Ремень, что его с той поры носил,-- истерся, пора чинить,

Но древний клинок сумел и в боях молодость сохранить.

Так быстро он рубит, что не запятнать его закаленную гладь,
Как не запятнать и чести того, кто станет его обнажать.

О ты, вокруг меня разгоняющий тьму, опора моя в бою,
Услада моя, мой весенний сад -- тебе я хвалу пою!..

И в кругу костра, что мерцал живым светом, остались трое: Поэт, Песня и Слушатели --
единое существо, поющее и внимающее.

Абу-т-Тайиб знал, что нужно этим людям. Да он и сам не хотел сейчас ничего другого: песня,
подобная неистовому скакуну с бешеным наездником на спине, рвалась с его губ и со струн чанга --
рвалась и уносилась вдаль, горячим ветром овевая замороженные лица кабирских ловкачей. Горным
камнепадом грохотали копыта, насмешливо звенела сталь о сталь и золото -- о золото; одинаково
сладкими были кровь врагов и губы красавиц, а потом...

-- Ношу я тебя не затем, чтобы всех слепила твоя краса,
Ношу наготове, чтобы рубить шеи и пояса.

Живой, я живые тела крушу, стальной, ты крушишь металл --
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!..

А потом песня кончилась, и только трещал заслушавшийся костер, да еще медленно гасли
отзвуки дикого, необузданного напева -- и так же медленно гасли глаза слушателей: они были там, в
его песне, и им очень не хотелось возвращаться.

Счастливицы! -- пой, Абу-т-Тайиб, и не думай о том, что ради возвращения позволил бы

отрубить себе оба уха.

Да что там уши...

-- Еще! Еще давай! -- истово выдохнул рябой, готовый ради единого слова певца сунуть руку в огонь.

-- Ну ты, Битый, закрой пасть! Не блудницу прижал: еще давай, еще давай... Кто ж тебе с пустым брюхом петь станет? -- резонно заметил давешний голос от хибары, и поэту снова не удалось в темноте разглядеть говорившего.

От жидкой каши с овечьим жиром Абу-т-Тайиб отказался; зато ловко поймал ломоть хлеба и плеть вяленой бастурмы, красную от перца. Он всегда любил острое, хотя в последние годы и мучился изжогой по утрам. А чанг тем временем снова перешел в руки первого хозяина; верней, далеко не первого, и не вполне хозяина, но чего уж теперь! Тот тронул струны, удивленно прислушался, высунув язык, словно хотел чужой отзвук на вкус попробовать; и с робостью опустил ладонь на струны, гася их дрожь.

-- Не, я пока обожду. А то потом тебе обратно строить придется: я по-твоему не умею,-- честно признался парень, кладя чанг рядом с поэтом.

Абу-т-Тайиб кивнул и промолчал: рот его был набит сочным огнем и хлебом вместо песен.

-- Добрый человек,-- слепой оборванец, чьи глазницы сплошь заросли диким мясом, выполз из-за спины рябого и ткнулся лбом в рукоять Абу-т-Тайибова ятагана.-- И человек добрый, и песня добрая, и ножик -- добрей некуда! У кого взял?

-- У кого взял, тому он уже без надобности. Считаю, по наследству достался,-- буркнул Абу-т-Тайиб, нимало не погрешив против истины.

-- Ну ты и плут,-- отметили из темноты; как кулах с поясом выдали.-- Что ж мы раньше про тебя-то не слышали? Чангиры с ножиками, да еще с болталом до пупа, а мы ни сном, ни духом... Издалека, видать.

-- Издалека,-- кивнул поэт.-- Из такого далека, что вам и не снилось!

-- Из Оразма, что ли? -- вновь полюбопытствовала темнота.-- Или из Дурбана? Говор у тебя вроде дурбанский, певун, да меня не проведешь! Ты б не темнил, а?

-- Это я темню? Сам в тени хоронишься -- хоть бы показался!

-- На меня глядеть, что на Огнь Небесный,-- сухо ответила темнота.-- Ослепнуть можно. Вон с тобой рядом один сидит, насмотревшись...

-- Ты с ним не заводись, чангир,-- зашептал на ухо Абу-т-Тайибу оборванец, плюясь и страшно дергая мертвыми глазами.-- Это Омар Резчик, ему человека кончить -- как тебе песню спеть! Только быстрее. Если он курбаши своего, Дэва-мальца, по первому же промаху властям сдал...

-- Дэва-мальца? Я удивлен великим удивлением! У вас тут мальцы в курбаши ходят?!

-- Ну ты и впрямь из Восьмого ада Хракуташа! Про “пятнадцатилетнего курбаши” не слыхал?!

Абу-т-Тайиб вспомнил могучую статью Худайбега и недобро сощурился. В сказку про “пятнадцатилетнего курбаши” верилось туго, здесь слепой врал без стеснения; зато все остальное заслуживало доверия.

-- Омар Резчик, говоришь? -- громко переспросил поэт.-- Курбаши властям сдал, говоришь? Значит, такие у вас обычаи? В хорошую же я компанию попал, только песни петь и осталось!

-- Засунь язык в задницу,-- бесцветно посоветовала темнота.

-- Да я-то, может, и засунул бы... А вдруг ты завтра еще кого сдашь? Меня? Его? -- Абу-т-Тайиб ткнул пальцем в слепца.-- Или его? -- он указал на невольного подавшегося в сторону рябого.

Поэт уже забыл, кто он и что здесь делает. В темноте прятался человек, который спровадил на кол своего товарища. У “детей Сасана” за такие шутки кишки на локоть мотали; и хотя Абу-т-Тайиб давно покончил с обществом ловкачей, сейчас это не имело никакого значения.

-- Ты решил поучить нас жизни, гость? -- осведомилась темнота.

Не отвечая, поэт медленно поднялся на ноги и встал во весь рост.

-- Ты хотел байку? О лихих бродягах? Тогда слушай. Это будет очень короткая байка -- но тебе она наверняка понравится. В одном далеком шахстве шарили по дорогам веселые людишки, выпростав из-под плаща насилия руку грабежа. Собирали людишки дань с проезжающих: с кого звонкими монетами, с кого -- шелком, с кого -- жемчугом; а с красавиц -- добрым поцелуем. И была разбойничкам всегда удача и везение, пока один дурак не подбил их сдать властям своего курбаши. В чем там загвоздка стала, не скажу, да только сказано-сделано! А удача сук не любит, она девка переборчивая... Сядут вскоре веселые людишки на толстые колья, а бывший их курбаши, помилованный шахом, придет в сотничьем кафтане муками их любоваться! По душе ли тебе моя байка, Прячущийся-в-Темноте?!

-- Ты глуп, гость. Мне не понравилась твоя байка. И ты мне не понравился.

Из темноты вылился человек. Через все его костистое лицо тянулся старый шрам, отчего один глаз человека постоянно щурился. Сальные пряди волос, перехваченные на лбу ремешком, густо падали на плечи -- и, казалось, слегка шевелились кублом змей. Короткая безрукавка оставляла обнаженными руки незнакомца, сплошь покрытые вздутыми жилами -- и в левой руке человек сжимал узкую саблю-клыч. Ноги левши ступали вкрадчиво, по-кошачьи: вот он по ту сторону костра, вот он ближе; вот он рядом.

Клыч сверкнул без предупреждения. Абу-т-Тайиб привычно уклонился и, выдергивая из ножен ятаган, изумился мимоходом: древний клинок показался до неприличия легким, будто детская игрушка. А потом изумился еще раз: сабля Омара Резчика послушно ушла вбок, слишком послушно для левши с повадками матерого барса!

Дальше время удивления вышло: сталь зазвенела о сталь, пламя костра бросило кровавые отсветы на клинки, начавшие смертельную пляску -- сзади кто-то вскакивает невпопад, и шахский ятаган живой гадюкой проворачивается в ладони, острием жалит за спину и чуть наискось; коготь клыча с визгом рассекает полу меховой джуббы, и ятаган на обратном взмахе врубается в

человеческую плоть.

Левая рука черноволосого стала куда короче: на узкий клинок, кисть и часть предплечья.

-- Уходим,-- рявкнул поэт Гургину; и оба нырнули во тьму.

Их никто не преследовал -- но, тем не менее, они бежали еще долго, пока дряхлый хирбед не начал задыхаться.

Только тогда Абу-т-Тайиб наконец перешел на шаг.

“Славно погулял! -- криво усмехнулся он.-- Старый конь строя не рушит...” И помрачнел.

Врать самому себе не хотелось. Если даже забыть про слишком легкий ятаган, то все остальное...

Ну не мог, не мог Омар Резчик, которому что человека кончить, что своего курбаши сдать с потрохами, рубиться вполсилы!

Не мог!

Или все-таки мог?! -- дошло вдруг до Абу-т-Тайиба.

4

-- Вы что тут все, сговорились?! -- брызжа слюной, поэт прошипел это в лицо Гургину, едва сдерживаясь, чтобы не схватить старца за глотку.-- Издеваетесь, да?!

-- Помилуй, владыка! -- обида мага была настолько искренней, что Абу-т-Тайиб невольно сделал шаг назад: получше рассмотреть советника.-- Кому ж придет в голову издеваться над шахом?!

Нет, Гургин не притворялся.

-- Тогда какого шайтана эта игра в поддавки?! Он же бил, как евнух мухобойкой! Если б я сразу...

-- Никто не смеет посягнуть на жизнь шаха Кей-Бахрама! -- назидательно воздел палец старый жрец.

-- Что?!! Шаха?!! Они все знали, что я -- шах?!!

-- Разумеется,-- был ответный кивок.

-- Но ведь я же... ведь мы же...-- задохнулся Абу-т-Тайиб.-- Откуда им знать?!

-- Обладателя фARR-ла-Кабир за фарсанг узнает любой человек, если только этот человек не слепой от рождения и не слабоумный,-- неторопливо и раздельно, как маленькому ребенку, пояснил маг.

-- Но как?!!

-- “И Златой Овен будет следовать впереди того мужа, носителя священного фARRа, и сияние Огня Небесного будет окружать чело его...” -- нараспев процитировал Гургин.

-- Златой Овен? Этот проклятый баран?!

-- Он самый, владыка.

-- Выходит, у меня нимб вокруг лба? Как у святого пророка? -- ехидно поинтересовался Абу-т-Тайиб.-- А крыльев ангельских случаем нету?!

-- Воистину так, владыка. Нимб есть, а крыльев нет.

Маг и не думал шутить.

-- Почему же я этого не вижу?

-- Шаху невместно зреть собственный фARR. Зато его видят все твои подданные.

-- Подданные... Значит, я -- НАСТОЯЩИЙ шах?! Настоящий?!! -- Абу-т-Тайиб все-таки не сдержался, ухватил старца за грудки, словно стремясь вытрясти из него вместе с правдой и душу.

-- Настоящий,-- прохрипел Гургин, и поэт бессильно отпустил его.

-- И все эти люди -- на улицах, в чайхане, у костра... Тот мясник-задира, ловкачи: они все знали, что я -- шах?!

-- Знали, владыка!

-- И все поголовно притворялись, что не узнают меня?!

-- Они не притворялись, владыка,-- казалось, маг донельзя удивлен, что Кей-Бахраму приходится объяснять столь очевидные вещи.-- Шах желал насладиться прогулкой и беседой, оставшись неузнанным. А желание шаха -- закон для подданных. Ты хотел, чтобы тебя считали обычным горожанином -- тебя таковым и считали. Шах удивился, почему в толчее ему уступают дорогу - и тебя стали толкать, как и прочих; шах хотел общества подонков -- и подонки приняли шаха, как равного; шах захотел драки и крови предателя... Ты получил и то, и другое. Омар Резчик действительно боец из бойцов: он сражался с тобой так, что ты поначалу даже поверил в серьезность его намерений. И теперь он наверняка горд: ведь руку ему отрубил не палач, а носитель фарр-ла-Кабир!

-- Гордится...-- простонал поэт, обеими руками схватившись за голову.-- Он гордится! О Аллах, я, кажется, схожу с ума! Там был еще один, сзади. Я, вроде бы, зацепил его.

-- Ты его убил,-- просто ответил хирбед.-- Тот парнишка, у которого ты брал чанг... Это был он.

-- И он тоже не собирался ударить мне в спину?!

-- Не собирался, мой шах. Он всего лишь встал.

-- Значит... значит, они восторгались моим пением лишь потому, что я шах?! Я дрался с ними всерьез -- а они давали мне руки на отсечение?! И если бы я просто стоял, опустив ятаган -- все равно ни один волос не упал бы с моей головы?!

-- Ни один волос,-- эхом отозвался Гургин.-- У шаха не бывает врагов. Во всяком случае, живых.

-- Не бывает врагов? А друзья у шаха бывают?! -- свистящий шепот грозил разорвать грудь и выплеснуться кипятком.

-- У шаха не бывает друзей. Разве есть друзья у солнца в небе? У шаха есть только подданные, для которых воля Владыки -- закон.

-- Подданные...-- потерянно откликнулся Абу-т-Тайиб.

Внезапно глаза его вспыхнули.

-- Врешь, старый скорпион! Будут у меня друзья! Будут! И враги будут! Сам говорил: на границе с этой... как ее... с Харзой! -- участились набеги на наши... на МОИ земли! Мы выступаем завтра же! Шах я или не шах?!

-- Шах, владыка. Фарр-ла-Кабир.

-- Тогда я объявляю войну Харзе! Харзийцы -- НЕ МОИ подданные! У меня будут враги! Настоящие! И друзья будут...-- чуть слышно закончил поэт.

И отвернулся, чтобы маг не видел его слез.

Он и сам плохо верил в собственные слова.

КАСЫДА О БЕССИЛИИ

Я разучился оттачивать бейты. Господи, смилуйся или убей ты! -- чаши допиты и песни допеты. Честно плачу.

Жил, как умел, а иначе не вышло. Знаю, что мелко, гнусаво, чуть слышно, знаю, что многие громче и выше!.. Не по плечу.

В горы лечу -- рассыпаются горы; гордо хочу -- а выходит не гордо, слово “люблю” -- словно саблей по горлу. Так не хочу.

Платим минутами, платим монетами, в небе кровавыми платим планетами,-- нет меня, слышите?! Нет меня, нет меня... Втуне кричу.

В глотке клокочет бессильное олово. Холодно. Молотом звуки расколоты,
тихо влачу покаянную голову в дар палачу.

Мчалась душа кобылицей степною, плакала осенью, пела весною,--
где ты теперь?! Так порою ночью гасят свечу.

Бродим по миру тенями бесплотными, бродим по крови, которую пролили,
жизнь моя, жизнь -- богохульная проповедь! Ныне молчу.

Глава девятая,
в которой праведный гнев обрушивается на головы дерзких хургов,
а шайтаны измываются над грешниками;
которая вообще сплошь залита кровью и провоняла гарью --
но имя пророка (да сохранит его Аллах и приветствует!)
так ни разу и не упоминается здесь, хотя и он в свое время...

1

Опаленная адским жаром свора шайтанов металась в чаду пекла, нанизывая грешников на
копья-вертелы, рубя наотмашь, швыряя раненых в жадную пасть огня. Крики отчаяния, бесполезные
мольбы, визг мучителей, грохот копыт, гул вихрящегося пламени...

Преисподняя, нижний ее круг, где даже на деревьях вместо ветвей растут змеи, а вместо

плодов -- отрезанные головы.

Чуть поодаль, на вершине сопки, стоял сам Иблис-Противоречащий, бывший ангел Азазиил, предпочтя огонь своей гордыни сладости рая и близости Творца. Стоял, равнодушно наблюдая за муками грешников, виновных много меньше, чем он сам -- и на обветренном граните лица падшего ангела, на челе его высоком не отражалось ничего.

Вы считаете, рок безнадежно суров? Но ведь нет ничего ни в одном из миров, что избегло бы участи мяса парного: стать жарким в полыханьи вселенских костров!

Временами, в редкие минуты просветления, Абу-т-Тайибу всерьез казалось: он и есть Иблис во плоти. А там, внизу, в очередном хургском становище, вершат свою привычную работу его подмастерья-бесы: ржание, вопли, черные силуэты корчатся на фоне пожарища и кровавого диска закатного светила -- чем не ад? Это длилось уже целую вечность, изо дня в день, почему-то всякий раз -- на закате. Судьба? Подходит к закату очередной день -- и подходит к закату чья-то жизнь.

Много жизней.

Изо дня в день.

На закате.

Противоречащий вершит суд неотвратимости.

За что он осудил этих людей? Какая разница?.. не важно. Если напрячься, он наверняка сумеет вспомнить -- но напрягаться больно, от этого лопаются виски, как у слонов в брачную пору, и голова идет кругом. Лучше принять выжженный путь безумия за единственно верный. Он, шах белостенного Кабира, возжелал смерти этих людей; и люди умирают.

Воля шаха -- закон; будь они все прокляты -- и воля, и закон, и шахский кулах!

...Поначалу память еще нашептывала, жужжала назойливой мухой: кочевники-хурги вторглись

в кабирские пределы, захватили какой-то там скот, кого-то зарезали... Конь набега вытоптал чужой луг. Ерунда. Было, есть и будет. В ответ войска прочешут границу на десяток фарсангов вглубь, вразумят налетчиков, угонят часть табунов -- и воцарится временное спокойствие. Никто не рассказывал об этом новому шаху, но Абу-т-Тайиб и сам прекрасно знал извечный ход вещей.

Но на сей раз кувшин бытия дал трещину. Подтягивать войска, методично прочесывать степь, гнать табуны и отары назад, на земли шахства?! -- слишком долго, а главное, абсолютно бессмысленно, с нынешней точки зрения поэта. Он не собирался плыть по течению. Он просто желал драться, немедленно, сейчас, завтра, вчера; и кровь предков ярилась в жилах, толкая на безрассудство.

Если бы кто-то вслух назвал Абу-т-Тайиба умалишенным, поэт бы с радостью согласился; но здесь пока не выросло языков, способных на столь вопиющую дерзость.

Он алкал войны. Настоящей войны, той правды меча, посредством которой обретают настоящих врагов -- и настоящих друзей.

Не цели, но средства.

Шах еще даже не успел объявить о грядущем походе -- а вся страна мигом пришла в движение. Войска стягивались к Кабиру едва ли не раньше, чем полководцы-спахбеды успевали получить шахский фирман, народ в едином порыве приветствовал бравых вояк кликами радости; а на всех перекрестках славилась мудрость и решительность Кей-Бахрама, собравшегося примерно наказать обнаглевших хургов.

Давно пора!

От всей этой шумихи поэт только раздраженно морщился и временами требовал от спахбедов невозможного; морщась вдвое сильнее, когда те досконально выполняли любой приказ.

Основную мощь Кабира испокон веку составляли полки латной пехоты -- но Абу-т-Тайиб боялся окончательно сойти с ума раньше, чем пешцы подтянутся к границе с Харзой. И сделал

ставку на конницу. Пяти тысяч отборных головорезов должно было вполне хватить для утоления первой жажды. Отряд выступил ночью, под покровом хранильницы тайн -- и лишь несколько человек в Кабире были посвящены в замысел шаха. Пехота, отряды пращников и “волчьи дети” под предводительством рвавшего в бой Суришара, должны были двинуться вдогон утром следующего дня -- чтобы соединиться с передовым отрядом у Арвана, малой приграничной крепостцы. А тем временем...

Это время не заставило себя ждать. Отпустив дракона своей ярости с привязи бесстрастия, шах не щадил ни себя, ни воинов, ни коней -- и на четвертые сутки его всадники визжащими шайтанами обрушились на первое из становищ хургов.

Солнце клонилось к закату.

Как сейчас.

Только сейчас это было далеко не первое становище -- какое по счету? какое?! не помню! -- и везде повторялось одно и то же.

Огонь -- и смерть на иззубренных клинках.

Сам шах не принимал личного участия в боине. Он наблюдал. И изредка гнал в огонь гонца с коротким приказом. Перехватить бегущих. Взять человек десять живьем. Проверить: не укрылся ли кто во-он за тем холмом?

Все остальное воины знали сами; знали, нутром чуя волю господина, как свою собственную.

Они пришли сюда не грабить, и даже не карать. Они просто несли смерть. Всем. Даже женщин никто не насиловал -- им вспарывали животы, едва покончив с мужчинами и подростками. Сразу. Не тратя драгоценного бальзама времени на удовлетворение зудящей похоти.

Великий Кей-Бахрам не хотел добычи, невольниц и золота; он хотел врагов.

И делал хургов -- врагами.

Навсегда.

Впрочем, по приказу шаха дюжине пленных всякий раз оставляли жизнь. Им рвали ноздри, отсекали уши, ставили на лоб их же собственные клейма, которые хурги выжигали на шкуре лошадей -- и отпускали. Даже конями снабжали, из захваченного здесь же табуна.

Чтоб быстрее могли добраться до Харзы. Чтоб султан харзийский узнал из первых рук: шах Кабира пришел на эти земли, дабы сделать их своими!

Владыка хургов не согласен со столь мудрым и справедливым решением? -- оспорь, светоч фарра!

Изуродованные посланцы уносились вдаль, быстро исчезая в сумерках, падающих на степь сизой стаей кречетов -- а бойня продолжалась. Отары овец вырезались подчистую, воины жарили на кострах жирную печень, набивали мясом желудки и хурджины; воины ложились спать под открытым небом, чтобы наутро снова вскочить в седло и мчаться дальше, и снова: крики отчаяния, бесполезные мольбы, визг мучителей, грохот копыт, гул вихрящегося пламени...

Ночами Абу-т-Тайибу снилась отрубленная рука Омара Резчика; мертвая пятерня впивалась в горло, и поэт просыпался от собственного крика радости.

2

Становище догорало. Ветер рвал в клочья и отбрасывал прочь последние крики несчастных, лишь где-то все никак не мог прекратиться детский плач. Абу-т-Тайиб поморщился: плач раздражал. Почти сразу до его уха донесся (или это только почудилось?) влажный хруст, словно лошадиное копыто раздавило спелый арбуз; короткий всхлип ветра -- и настала тишина.

Мертвая тишина; впору было заподозрить себя в глухоте.

-- Примай полон, твое шахское! -- тишь лопнула знакомым басом, и могучий юз-баши вывернулся из дыма.

За собой отставной душегуб, намотав на локоть конец веревки, волок с десятков ошалевших от ужаса хургов: узрев венценосного губителя, пленные разом пали ниц.

-- С этими -- как завсегда? -- поинтересовался Худайбег, опираясь на свое знаменитое копьцо, уже снискавшее ему немалую славу среди соратников.

Копье юз-баши, которого Абу-т-Тайиб все чаще звал просто Дэвом, было подстать владельцу: толщиной с лапищу самого Дэва, длиной также раза в полтора больше обычного, оно завершалось огромным кованым жалом -- близкой родней как меча, так и топора. Хоть колоть, хоть рубить, хоть буйволов глушить -- если, конечно, силенок достанет орудовать сей оглоблей.

У Дэва силенок доставало. Даже с избытком. В бою юз-баши был страшен; особенно когда, всласть окровавив жуткий наконечник, принимался охаживать врагов древком своего “копьеца” -- с легкостью ломая хребты и ребра. Глядя на спасенного им разбойника, Абу-т-Тайиб частенько поминал хашемита Али, зятя пророка (хвала ему!) по прозвищу Лев Божий. Согласно свидетельству очевидцев, в битве при Хайбаре с людьми Торы святой силач бился, используя вместо щита сорванные с петель ворота. Вот это подстать Дэву, хоть и грех равнять Божьего Льва с гулящим язычником: ворота вместо щита, таран вместо копья, и -- вперед!

Одно слово: Дэв. Силушка бычья, преданный, как собака -- и тупой, как древко его же копья!

Тупой? Тогда почему одному лишь Худайбегу пришло в голову напрямик спросить у шаха: “Резать -- это правильно, твое шахское, и пожечь остаточки правильно -- чтоб ни им, ни нам... Но отчего добришком не поживиться? Вон, и табуны у них, и отары, и еще всяко-разно...”

Дэв никак не мог взять в толк, почему они пренебрегают богатой добычей. Но ведь остальных Абу-т-Тайиб тоже не посвящал в свои сокровенные помыслы! А воины в набеге мало чем отличаются от разбойников. Брать добычу -- святой обычай; мечи стрелы и хватай, что цело! Приказ шаха? Да, конечно... Но почему удивился столь странному приказу один Дэв, отнюдь не блиставший умом -- а остальные восприняли, как должное?

Мифический фарр? Пусть так, пусть никто, кроме простака-Дэва, не решился задать вопрос владыке -- но ведь хотя бы удивление его приказ должен был вызвать? Должен. Косые взгляды за спиной, шепоток, попытку схоронить в хурджине золотишко или там блестяшку...

Ан нет! Ни-че-го!

Это раздражало Абу-т-Тайиба. Впрочем, в последнее время его раздражало многое; странные мысли и видения роились в мозгу, странные слова срывались с языка -- и он гнал свой отряд от резни к резне, недоумеая: ну когда же харзийский султан не выдержит столь откровенного издевательства, когда же он двинет к границе свои полки?

Когда?!

-- ...вишь, задумался... Эй, твое шахское! С пленными -- как всегда?

-- Валяй, Дэв,-- кивнул Абу-т-Тайиб, барахтаясь в пучине видений и обрывков мыслей.

-- Не нада всегда! -- вдруг приподнялся с земли один из пленников -- толстый старик в халате из полосатого карбоса. Ветер трепал космы длиннущей седой бороды -- точь-в-точь как у сказочных волшебников. Жаль, летающего кувшина впридачу к бороде у старого хурга не имелось.-
- Всегда не нада! Моя выкуп дадут! Сто коней-хингов, вай! Два-сто коней-хингов, вай! Мой убивай нельзя!

-- Встань,-- бесцветно бросил поэт.

Старик с проворством безусого юнца вскочил на ноги.

-- Говоришь, твоя нельзя убивай?

-- Нельзя, моя солнце...

Деловито свистнул ятаган. Голова неvezучего волшебника стукнулась оземь и покатилась вниз с сопки: страшный мяч для страшной игры-човгана. Пленники вжались в прах земной -- брызги кровавого фонтана окатили их, жгучие брызги, предвестники грядущей участи, когда впору будет

позавидовать убитым. Тело старика еще некоторое время продолжало стоять, словно недоумевая -- что это за напасть такая, вай?! -- а затем мягко повалилось ничком перед венценосным убийцей.

Дэв расхохотался и пнул труп сапогом: тот перевернулся на спину, дрогнул на крутизне -- и сполз вниз следом за головой, должно быть, надеясь догнать недостающую часть.

-- Сто коней-хингов одним ударом уложил, твое шахское,-- с уважением буркнул юз-баши, провожая взглядом труп.

-- Я дал ему легкую смерть,-- холодно прозвучало в ответ, и пленные разом возмечтали стать муравьями, а еще лучше -- пылинками в солнечном луче.-- И знаешь, за что, мой глупый богатырь? Этот старик посмел судить о том, что можно, и чего нельзя делать шаху. Заслужив тем самым честный конец. С остальными -- как обычно. Резать уши, ноздри рвать -- и в Харзу к султану гнать. Что же касается коней... коней я возьму сам! Сам! Если они мне понадобятся...

Голубые глаза отрубленной головы тупо пялились в небо; но сопка закрывала небосвод мрачной тушей -- и в прядях бороды уже копошились насекомые.

3

Аромат бараньего жаркого мешался со смрадом горелой человечины -- но это никому не портило аппетита. С другой стороны, и то, и другое -- попавшее в огонь мясо, только и всего. Возможно, пустынному гулю-людоеду как раз второе показалось бы ароматом, а первое -- смрадом.

За время этого безумного похода все уже успели привыкнуть к такому смешению запахов, перестав обращать внимание на подобные мелочи.

Шах ужинал у костра вместе со всеми. Громко чавкая, он поглощал дымящиеся куски, вытирая засаленные пальцы об одежду; и время от времени бросал короткие, почти неуловимые взгляды на своих воинов. Не взгляды -- укусы песчаной эфы, за которой и глазом-то не уследишь!

Он видел одно и то же: искренняя радость, удовлетворение завершившимся боем, из которого живыми вышли все, да и раненых было немного. Обожание и преклонение перед ним, великим шахом, гениальным полководцем, ведущим их от победы к победе, грозой подлых хургов. В скачке неустойчив, к врагам -- беспощаден, ест с ножа, спит на земле, и воинская удача бежит за ним верной собачонкой! На такого шаха просто молиться надо!

Его воины, похоже, так и делали -- только молча, про себя.

Преданные соратники? Или такие же несчастные марионетки, как он сам, ослепленные сиянием пригрезившегося им фара -- и готовые теперь бездумно идти в огонь и в воду за его обладателем?

Кто они на самом деле?

Кто он, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби?

Ответа не было, в висках колотились тысячи мягких молоточков, и поэт зверел день ото дня, отыгрываясь на несчастных кочевниках.

Раздавалась во мраке судьбы похвальба: "Ради шутки на трон вознесла я раба, а впридачу к венцу наградила проказой!" -- и смеются над шуткой скелеты в гробах...

* * *

Гнедая степь грохочущей рекой текла к югу, вглубь харзийских земель. И казалось: нет такой силы, которая способна остановить это конское половодье, прервать неукротимый бег тысяч копыт, сотрясавших дол на фарсанги вокруг.

Хурги спешили увести племенной табун подальше -- но их было слишком мало, этих пастухов-воинов. А наперерез им и ведомому ими табуну уже неслись, разворачиваясь в лаву, без малого две тысячи всадников Абу-т-Тайиба, и расстояние между сверкающим кабирским серпом и

гнедой рекой быстро сокращалось.

Гудела степь, радостно кричали в вышине стервятники, предвкушая скорую поживу -- и пастухи слишком поздно поняли: с табуном им не уйти. Породистые аргамаки легки на ногу -- но поди разверни живую реку вспять, заставь ее резко сменить русло, уходя прочь от вылетевших из-за сопки кабирцев!

Они не успевали. Если бы всадники Абу-т-Тайиба шли за ними вдогон -- у кочевников еще имелся бы шанс уйти, пусть даже потеряв часть табуна. Однако налетчики мчались вперехват, и времени для маневра у хургов уже не оставалось.

С десяток наиболее сообразительных поспешно ринулись прочь, оставляя табун между собой и кабирцами, спасая свои жизни. Пусть уходят -- сейчас не до них. Серп, сверкая металлом клинков, легко срезал редкую поросль безумцев-храбрецов и начал уверенно обтекать головную часть табуна.

Невозможное свершилось.

Река встала.

-- Что ты там, мой Дэв могучий, о добыче говорил? -- огласил степь буйный хиджазский напев.-- Сей табун, подобный туче, мы отгоним к нам в Кабир! Пой, наш стан в стенах Арвана! Жди пришествия султана -- подоткнув полу кафтана, нас Харзиец возлюбил! Хайя!..

Отряд, гоня перед собой захваченную добычу, двигался быстро. Но без суеты и излишней спешки, которая, как известно, хороша лишь в двух случаях: при ловле блох и в постели чужой жены -- да и то во втором случае необходимость спешки зачастую весьма сомнительна.

Если, конечно, муж не вернулся.

До Арвана было чуть больше суток пути, а Суришар с войсками ожидался дня через два, не раньше. Позади оставалась обезлюдившая степь с язвами пепелищ; позади осталась дюжина налетов -- и дюжина дюжин обезображенных хургов, отправленных гонцами к султану.

Впереди ждала война.

Абу-т-Тайиб жаждал ее, как жаждет глотка воды бредущий по пустыне путник, как влюбленный жаждет прикинуть устами к устам своей возлюбленной, как голодный барс жаждет крови и плоти молодого архара!

Поэт мерно покачивался в седле, пушистое разнотравье споро бежало навстречу -- но глаза шаха видели сейчас иное. Временами ему казалось: он пестрым ястребом парит высоко в небе, и под ним проплывают города, сады, виноградники, желто-зеленые прямоугольники возделанных полей, и имя всему этому -- Кабир.

Кабирское шахство.

А потом земля стремительно надвигалась, поэт сжимался в седле, предчувствуя неминуемый удар, который расплющит его в лепешку -- но гибель все медлила. Абу-т-Тайиб киселем растекался по всей этой земле, он был всем: камнем стен, травой на обочине, дорожной пылью, полями и лесами, виноградниками, городами и деревнями -- он был живущими здесь людьми, всеми сразу!

Перед внутренним взором на миг возникла ясная картина: он, вместе с фумэнскими рыбаками в каком-то селении на побережье Муала, где оказался случайно, проездом, рассматривает только что выловленного спрута.

Фумэн? Муала? Где это? Что это?!

И тут же он сам ощутил себя спрутом -- огромная скользкая тварь с великим множеством конечностей, спрут по имени Кабир, и одно из его щупалец с жадными присосками устремилось сейчас дальше... на территорию Харзы! Многорукий гигант с шахским кулаком на голове тарачил круглые глаза; и все тянул, тянул щупальце дальше -- он, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, был одновременно и этим спрутом, и самим шахством, и тем щупальцем, которое упорно ползло к Харзе, пытаясь что-то схватить -- но это у него не получалось, добыча выскользывала, несмотря на присоски...

Потом была темнота.

-- ...твое шахское, что с тобой?

Лицо. Озабоченное, встревоженное...

Дэв.

-- Я не могу взять... не дается...-- словно в бреду, бормочут белые губы.

-- Эй, кошму сюда! И воды, воды, олухи!

Остатки одури уходят, глоток воды из бурдюка -- и Абу-т-Тайиб легко вскакивает на ноги. Его чуть ведет в сторону, но тело быстро восстанавливает равновесие.

Смеркалось. Повсюду паслись лошади из угнанного ими табуна, лагерь был уже разбит, от костров тянуло дымом...

-- Со мной все в порядке. Ужин. Потом выставить караулы -- и спать. Завтра днем нам надо быть в крепости.

Этот череп -- тюрьма для бродяги-ума. Из углов насмехается пыльная тьма: "Глянь в окно, неудачник, возмись за решетку! -- не тебе суждена бытия кутерьма!.."

Глава десятая,

в которой рассказывается история одного доспеха,

море битвы выходит наконец из берегов,

веселый безумец посягает на обладателя фарра,

кто-то успевает, кто-то не успевает,

но совершенно не рассматривается застольное приличие:

брать малые куски и пореже смотреть на сидящего рядом!

Ночью его снова мучали кошмары. Проснувшись утром, поэт так и не смог вспомнить -- какие именно; но смутная тень предчувствия окутывала душу кружевной кисеей.

Грядет день событий!

Абу-т-Тайиб всегда со вниманием относился к собственным предчувствиям, что не раз спасало ему жизнь. Поэтому, прежде чем взобраться в седло, он облачился в ратный доспех, который весь поход таскал за собой в тороках -- ни разу еще не надев целиком.

С доспехом была связана история, достойная, чтобы о ней упомянуть.

Ехать на войну без доспеха было глупей глупого; да и не шахское это дело -- рваньем отсвечивать. Однако броня владык на скорую руку не делается, здесь одна подгонка дорогого стоит! -- а в оружейной не сыскалось лат по душе.

То ли Абу-т-Тайиб оказался излишне придирчив, то ли еще что...

Справедливо решив, что в этом вопросе от Гургина помощи ждать бессмысленно, поэт обратился к верному Суришару. И мигом выяснил любопытную подробность: оказывается, его предшественник, шах Кей-Кобад, как раз незадолго до смерти велел изготовить себе новый доспех. Жаль только, не успел примерить обнову -- безвременно скончался на сто семьдесят девятом году жизни!

Слова о возрасте покойного владыки Абу-т-Тайиб, как обычно, пропустил мимо ушей. А вот что касается доспеха...

-- Вызвать устада Коблана во дворец? -- с полувздоха догадался Суришар.-- Доспех-то ему заказывали...

И не угадал.

-- Сам к нему съезжу. Вели подать коня!

Сказано -- сделано. Через час шахские гургасары уже громко стучались в дверь кузни.

-- Ты, что ль, Коблан будешь? -- войдя в кузню, Абу-т-Тайиб едва не споткнулся о распростершегося ниц полугололого детину.

Видом детина более всего напоминал пустынного духа-марида, самого зверообразного из детей огня; ноги как мачты, руки как вилы, рот бурдюком, уши -- створки ворот, и младенцы седеют при одном взгляде на это создание.

Говорят колдуны: строить -- зови джинна; рушить -- зови ифрита; умом тронулся -- зови марида!

-- Нет, владыка, уstad Коблан...

-- Ты? -- поэт лишь сейчас заметил второго марида-близнеца, протиравшего пол у корзины с опилками, золой и черным песком, даже на вид тяжелым, как чугун.

-- Нет, владыка, уstad Коблан...

-- Уstad Коблан -- это я, ничтожный; да будет воспето в веках твое имя, о мой шах!

Абу-т-Тайиб огляделся в поисках третьего тела -- и обнаружил у лохани с водой щуплого недоростка, почти карлика, чья плешь всю отражала пламя горна.

-- Ты -- кузнец?! -- искренне изумился поэт.

-- Прозорливость моего шаха безгранична, -- утробным басом рокотнул с пола карлик, заставив воду плеснуть о края лохани, и поэт воспрял духом: неужто издевка?!

Увы, надежды оказались тщетны.

-- Тогда вставай, кузнец. Ты-то мне и нужен. Показывай доспех, который делал для Кей-Кобада.

Доспех был хорош -- поэт сразу так и прикипел к нему взглядом: начищенное до блеска зеркало с синеватым отливом, стройные ряды сияющих пластин, перемежающиеся на боках

кольчужными вставками... Сразу видно: и сталь отличная, и работа славная!

-- Шевелитесь, козье охвостье! -- распекал тем временем карлик своих маридов, да так, что уши закладывало.-- Эй, Мунир, Масуд, чтоб вам материнское молоко не впрок пошло! -- живо за наручами, поножами, наколенниками... и шлем, шлем не забудьте, остолопы!

Кузнец скакал воробышком, возбужденно вертя в руках какую-то железяку с нашлепкой -- привычка? волнение? все сразу?! Небожь, не каждый день к нему в кузню шахи захаживают! Абу-т-Тайиб пригляделся -- и окаменел на месте: кузнец вертел в пальчиках изрядный костыль, который от Коблановой ласки мялся хлебным мякишем...

“Ишь, птенчик! -- уважительно моргнул поэт.-- Такому и молот с наковальней без надобности -- разве что для ковки. А форму он какую угодно и руками выгнет!”

Наконец перед шахом предстал весь доспех полностью: вороненые наручи с поножами, подбитые изнутри двойным лиловым бархатом, высокий прорезной шлем, латные перчатки...

Доспех оказался чуть великоват Абу-т-Тайибу. Исправить это было проще простого: вынуть с боков по ряду пластин, немного подогнать -- всего-ничего. Но кузнец заупрямился, заявив, что подгонит все одними застежками. Дескать, дурное дело -- вынимать пластины.

Запас еще пригодится!

-- Думаешь, разъемся на престоле? -- усмехнулся поэт.-- Ладно, делай как знаешь. До завтра справишься?

-- Непременно, мой шах, непременно! -- Коблан уже деловито снимал мерки с венценосного заказчика.-- Попомните мое слово: запас мощну не тянет!

И вот теперь Абу-т-Тайиб обнаружил, что запас действительно оказался не лишним! Разжирел он, что ли? Или, подобно сказочным богатырям, только в силу входить стал -- на шестом-то десятке?!

Однако сейчас было не время размышлять о шутках судьбы. Верный Дэв помог шаху

облечься в латы, и поэт сам, без посторонней помощи, легко прынул в седло -- чему был немало удивлен. Он-то точно не Лев Божий, ему воротами не сражаться!

-- За мной!

* * *

...Солнце близилось к полудню. Отряд Абу-т-Тайиба споро двигался по холмистой в этих местах степи, гоня перед собой захваченный табун -- когда вернулся посланный вперед развед.

-- У крепости идет бой, мой шах!

2

Здесь рубились не полудикие степняки -- Абу-т-Тайиб понял это сразу, выехав на вершину сопки и взглянув из-под руки на разгоравшееся у стен Арвана сражение. Харза решила наконец ударить в ответ на дерзкий вызов! И сейчас султанские полки штурмовали пограничную крепость Кабира.

Цель была достигнута.

Вот он, враг -- настоящий! Не зря пылали становища, не зря уродовались посланцы, не зря руки по локоть купались в крови: игра в поддавки окончена, и сияние фарра, истинное или мифическое, вряд ли согреет души озверевших хургов! Ишь, каким скопищем явились, чисто саранча! Впору радоваться, что три с лишним тысячи его бойцов сейчас находятся вместе с арванским гарнизоном в стенах крепости... Главное -- пробиться к ним и дожидаться подхода Суришара с основными силами.

-- Худайбег!

-- Я здесь, твое шахское!..

-- Берешь полутысячу и скачешь в обход. Пройдешь вон по той лощине и ударишь штурмующим в бок, прямо напротив ворот. Задача -- вызвать панику и прорваться к воротам. Ясно?

-- Ясно, твое шахское! Да мы их...

-- Выполнять!

Спустя мгновение Дэва уже не было рядом.

-- Хаджир! -- подозвал поэт другого юз-баши.-- Берешь свою сотню и гонишь на их лагерь табун с северо-запада. В бой не вступать -- порубят. Пустить коней на палатки и присоединяться к нам. Мы ударим сразу вслед за Худайбегом. Действуй, сотник!

-- Радость и повиновение, мой повелитель!

Грохот конских копыт вновь заставляет степь качнуться лихим бубном. Подбирающееся к зениту солнце щурится, глядя на чудеса внизу: гнедой потоп заливает местность! И кажется: волшебные тулпары под предводительством святой аль-Борак, крылатой кобылицы Господа миров, сами идут в атаку -- ибо далеко не сразу можно различить в арьергарде табуна всадников Абу-т-Тайиба.

Сражение приостанавливается, повисает в мертвой точке; хурги начинают разворачиваться навстречу неожиданности... И этим не замедлили воспользоваться защитники крепости, на что и рассчитывал поэт. Пращники на стенах дружно взмахивают ремнями, и град свинцовых лепешек окатывает харзийских воинов, основательно проредив их ряды.

Миг замешательства, гортанные выкрики команд, часть конницы хургов устремляется в лоб табуну: остановить, развернуть двумя крыльями, не дать смять лагерь -- и замешательство взрывается удалым гиканьем, когда из лощины вырывается полутысяча кабирцев во главе с ревушим Дэвом, который вращает над головой свое жуткое копьё-дубину!

Словно кровавый ветряк пошел вразнос, перемалывая людей в страшную муку. До ворот

еще далеко, но Худайбег и его люди уверенно движутся к вожаемой цели. Конечно, сейчас хурги опомнятся, увидят, что врагов совсем мало, и тогда...

И тогда придет очередь Абу-т-Тайиба!

Уже пришла.

-- За мной!

Крепость бросается навстречу, и за спиной слышен тяжелый топот без малого полутора тысяч всадников.

Время ожидания кончилось.

Настало время крови.

Харзийцы все же успевают развернуть боевые порядки, подставляя спины под увесистые гостинцы Арвана; мало, мало на стенах пращников! И ядра, похоже, на исходе...

Впрочем, это уже не важно.

Первого хурга, шарахнувшегося в сторону от железного демона, Абу-т-Тайиб достает походя, вихрем несясь мимо -- чтобы безумным дровосеком врубиться в чужой строй.

Последнее, что он успевает заметить краем глаза: дюжина всадников на дальней сопке, и один из них мановением руки шлет гонцов к войскам. Султан! Султан Харзы! Шлем владыки хургов отблескивает на солнце, сгущаясь расплавленным золотом вокруг головы, а потом Абу-т-Тайибу становится не до шлемов, султанов и сияния.

Стальные заросли вокруг кипят смоляным варом, искаженные, залитые кровью лица, тюки человеческого мяса валяются наземь справа и слева; мечутся кони -- те, что успели потерять своих седоков; остальные, дико храпя, пятятся к крепости, понуждаемые сидящими на них хургами. Сдвигаются круглые щиты, плюясь в просветы кривыми всплесками сабель -- но тяжкий ятаган шаха сносит и ломает ветки ядовитого кустарника, обходя щит, вгрызается в живую плоть...

Е рабб!

Мгновение передышки. Под копытами коня -- мертвецы. Впереди -- вогнутый полумесяц хургского строя щетинится копейными жалами.

Стоят.

Ждут.

Копья? Почему он до сих пор жив? Даже легендарный Антара, Отец Воителей, не сумел бы в одиночку отбиться от...

Один? Почему -- один?! Где его воины?! Откуда эта тишина? Беззвучно раскрываются рты, перекошенные криком, беззвучно переступают копыта коней, металл немо ударяется о металл...

Мгновение -- и лавина звуков погребает слух под собой.

Битва продолжалась. Но он действительно остался в одиночестве: шаху дали прорваться вперед, увлечься боем -- и кольцо хургов сомкнулось вокруг него. Кабирцы отчаянно рвались на выручку к повелителю, угодившему в ловушку -- но их порыв расплескивался кипящими брызгами о заслон Харзы.

-- Живым взять хотите? -- кривая усмешка клещами палача раздирает рот.-- Или вы, дети ехидны, тоже...

Последняя мысль страшной возможного плена, но высказать ее вслух, или просто додумать до конца Абу-г-Тайиб не успевает. Из гущи врагов выламывается безумный смех. Хохочет все -- земля, небо, игрневый скакун, лихой боец в седле, полумесяц секиры над головой бойца... Смех рушится на поэта искрящимся водопадом, разом вышибая из головы лишние размышления. Хорошо хоть, сама голова на плечах осталась -- вовремя пригнулся да за повод дернул!

Этот весельчак определенно не собирался брать его живым!

О счастье! Да буду я выкупом за тебя, враг до мозга костей, подлинный, высшей пробы, не безлика толпа, не искусный лицедей, покорный шахской воле -- бесшабашная смерть-смех во плоти!

-- Веселись в горниле боя, -- оскал выворачивает челюсти, превращая лицо в морду хищника; и

властная рука бросает коня в сторону.

-- Хохочи, не чужа боли! -- ятаган скрежещет по оплечью хурга, взвизгивая от бессильной ярости и предвкушения скорой поживы.

-- Пока ты в земной юдоли,-- игреневый буран мечется вокруг, плеща в глаза смертельной луной на ущербе, но радость встает навстречу утесом проклятых гор без названия; звон, лягз, смех... бой.

-- Не найти тебе покоя! -- хруст, истощное ржание, горячий фонтан брызжет алой пеной, и земля кидается навстречу Абу-т-Тайибу. Мир кувьркается халифским шутом, громада всадника нависает над головой, и тело само перехватывает поводья у оплошавшего рассудка...

Он поднимается, озираясь. На земле бьются два визжащих жеребца -- его чубарый, чья грудь распахнута ударом секиры, и игреневый харзийца, с подрубленными бабками.

Коней жалко.

Но смех-смерть уже на ногах, и секира весело пластает воздух ломтями -- ближе, еще ближе, еще... Стальной ураган, безумная круговерть, ятаган на миг приникает к ущербной луне, сбрасывая ее прочь с небосвода; рывок вперед, вплотную -- и наотмашь, тяжелой латной перчаткой с зажатой в ней рукоятью.

В висок.

Харзийца спас шлем. Добрый остроконечный шлем из посеребренной стали, подбитый изнутри кожей, с узким налобником, пластинчатыми нащечниками и кольчатой бармицей, прикрывавшей шею. Все это, до самой мельчайшей детали, разом вспыхивает перед взором Абу-т-Тайиба -- пока шлем падает на землю и катится по вытопанной траве, а сам харзиец, оглушенный ударом, медленно оседает у ног шаха, выронив страшную секиру.

Склонясь к противнику, забыв, где он и кто он, поэт до рези под веками вглядывается в

прозрачные глаза парня -- ища в них крупницы жизни, боясь потерять единственное существо, рядом с которым Абу-т-Тайиб наконец ощутил себя живым, настоящим, прежним...

И еле успевает вернуться на грешную землю из пустыни “Я”, как называют суфии тайные глубины души.

Хурги деловито спешиваются.

Они идут к нему, выставив перед собой копьа.

И, снося ятаганом первый выпад, отсекая наконечник второго копьа, рубя в ответ, Абу-т-Тайиб не сразу понимает: все эти удары предназначаются НЕ ЕМУ!

Хурги собираются добить своего оглушенного товарища.

-- Е рабб! Дети ехидны! Он же ваш!

Заслонив упавшего собой, Абу-т-Тайиб подхватывает с земли оброненный кем-то шамшер, длинный и кривой; и теперь рубит с двух рук, не давая детям ехидны прикончить собрата по оружию. Солнце изумленно щурится с неба: хищные жала мелькают над самой землей, тщась поразить лежащего, а вокруг смешливого харзийца мечется шах Кабира, плеща в перекошенные лица сталью, каким-то чудом успевая, успевая, успе...

В воздухе свистят арканы.

А явившегося следом воя поэт уже не слышит.

3

-- За мной, волчьи дети! Фарр-ла-Кабир!

Оглушительный вой стаи был ответом.

Лава гургасаров выплеснулась из-за холмов. Широкогрудые, мощные кони, все, как на подбор, вороные; волчьи шкуры поверх тускло отблескивающих лат, волчий оскал зубов, волчьи высверки

клыков-клинков -- всадники в этот миг действительно походили на сорвавшуюся с цепи свору оборотней, готовую разорвать в клочья все и вся, что попадется им на пути!

А за их спинами уже разворачивали строй тяжелые латники -- гордость Кабира.

Суришар сделал невозможное: он пришел на день раньше.

Рвать на себе волосы и, обезумев, клясться в неотвратимости своей мести он будет позже.

Глава одиннадцатая,

которая повествует о рыжих котятках и зайцах с кисточками на ушах,
о великой пользе от сношений, о беседах меж обладателями фарров,
но никоим образом не упоминает о том,
что если бы Аллах (велик он и славен!) не запретил вина,
то не было бы на лице земли ничего,
что могло бы заступить его место.

1

-- Султан ждет вас, мой господин!

-- Я жег становища твои,-- голос Абу-т-Тайиба был тишиной пересохшего колодца, пустой и бесстрастной.-- Я убивал детей и женщин, я гнал коня, топча шатры, шатры твоих отцов и братьев. Смеясь в седле, я пил вино над пирамидой хургских трупов, и дол смеялся мне в ответ, и небо, и земля -- а люди, бывшие люди, без голов считались падалью, и только! Я -- бич твоих земель; я -- бич, которым хлещут без разбору, будь прав ты или виноват, будь горд или исполнен страха!.. я -- Божий гнев. Или иначе: я -- гнев, но самого себя, холодный гнев фарр-ла-Кабир, бессмыслица монаршей

воли, огонь из зябкой пустоты, которую я ненавижу. Что скажешь, хург?

-- Султан ждет вас, мой господин!

-- Ударь меня! Ударь, иль будь навеки проклят!

Молчание.

Еще с минуту Абу-т-Тайиб вглядывался в лицо конвоира, в скуластое лицо с кожей, навсегда потрескавшейся сетью мелких морщин; так глядит безумец надохлую рыбу, ожидая ответа на вопрос о смысле жизни. Затем поэт страшно рассмеялся, всплеснул руками и шагнул вперед.

Малиновая сарапарда -- загородка из воловьей кожи, скрывающая от досужих глаз шатер султана -- распахнулась перед ним.

Шатер оказался палаткой. Да, богатой, островерхой, увенчанной сияющим на солнце шишаком; с пурпурными разводами по снегу войлока трех юрт, сдвинутых вместе. Но палатка есть палатка. Даже если рядом возвышается бунчук: древко кроваво блестит, смоляные косы перевиты блестящими жгутами, и на каждом завязано по три узла. Абу-т-Тайиб ожидал иного. Золотых столбов, что ли? -- а шест-опора, на худой конец, пусть будет из слоновой кости. Пусть будет, молча согласился сам с собой поэт; пусть будет все, чего душа пожелает, а чего не пожелает, пусть тоже будет. Он не считал себя сумасшедшим. Просто ему было хорошо в пуховой облачности, в спокойствии без прошлого и будущего; ему было хорошо в плену.

Привычно.

Полог оказался откинут, стража отсутствовала, и из темноты палатки доносилось еле слышное урчание. Абу-т-Тайиб пожал плечами, прежде чем окунуться в темноту; лгунья! -- на поверку она оказалась достаточно светлой. Лампады, вещие птицы Хумай с фитилями в клювах и брюхом, полным зигирового масла, висели в углах, гоня шелковые тени от стены к стене. А на ковре, чей орнамент то и дело всплескивал серебром нитей, сидел человек -- играясь с котенком. Рыжим, непривычно крупным и лобастым. Котенок кувырчался, ни в какую не желая дать почесать себе

живот; четыре лапы всюду били по воздуху и по руке человека, но когти выпускались еле-еле, чтобы не испортить игру.

Вокруг головы человека, звездной пылью падая на узкие плечи, светился нимб.

Абу-т-Тайиб заморгал. Затем протер глаза. Нет, нимб никуда не делся: мерцал себе ночным небом пустыни, и в свечении то и дело пробегали багряные сполохи. Когда человек повернул голову, нимб дрогнул, пропал на мгновение, но сразу объявился снова -- и багрянец сменился тусклой синью.

Сабельным металлом.

-- Я счастлив видеть брата моего отца,-- сказал человек с нимбом.

Котенок фыркнул и ударил лапой: ему хотелось играть дальше.

Абу-т-Тайиб оглянулся через плечо. Нет, никакого брата чужого отца за спиной не стояло. И вообще никого не стояло.

-- Э-э-э... кого счастлив видеть мой господин? -- осторожно поинтересовался поэт.

-- Если бы Кабирское шахство было ровней Харзе, я бы звал тебя братом,-- человек с нимбом отвернулся и ловко ухватил котенка за шкуру.-- Но это не так. Поэтому я зову тебя дядей. Входи, дядюшка, входи... и брось величать меня господином. Особенно наедине. Меж обладателями фарров это не принято.

Мерцание нимба усилилось, в нем замелькали игривые огоньки, и котенок кубарем полетел в дальний угол. Жалобно пискнув, зверек забился под кошму; лишь изумруды глаз сверкали оттуда.

-- Входи! -- повторил человек с нимбом.

Абу-т-Тайиб медлил. Если все происходящее до сих пор представлялось дурным сном, то сейчас сон окончательно превращался в кошмар. В видения-лабиринт, откуда нет выхода, а в каждом укрытии ждут святые халифы прошлого с ореолами вокруг чела, готовясь кривыми ногтями вцепиться тебе в глотку. Поэт поднял руки и тщательно ощупал собственную голову: тюрбан, повязанный взамен отобранного шлема, волосы, уши, затылок...

Все как обычно.

-- Он слегка отдаёт в голубизну,-- человек с нимбом не без интереса наблюдал за братом своего отца.-- А внизу похож на кольчужный наматыльник. Только длиннее.

-- Кто?

Пройдя вперед, Абу-т-Тайиб уселся на ковер и скрестил ноги. В конце концов, не все ли равно, как разговаривать со святыми плодами воображения: стоя или сидя? Особенно если ты -- брат их отца, да простятся ему былые прегрешения...

-- Фарр-ла-Кабир. Я видел его однажды: сорок лет назад. На переговорах относительно спорных земель между Кабиром, Харзой и Дурбаном. Я тогда впервые встретился с Кей-Кобадом, твоим предшественником. С тех пор он совсем не изменился.

-- Предшественник?

-- Фарр.

-- И тебя, сын моего брата, о котором я скорблю всякий час и всякую минуту -- тебя это не удивляет?

-- Что фарр остался прежним? Ничуть. А тебя?

Поэт вдруг резко вскочил на ноги. Едва ли не бегом он пересек палатку и вновь оказался у выхода. Никто не остановил его, не преградил дорогу; Абу-т-Тайиб остановился сам и долго смотрел на султанский бунчук.

К сожалению, тихое бляенье ему не почудилось.

Под красным шестом сидел баран, и пальцы солнца тихонько перебирали драгоценное руно. Вспышки бегали от шерстинки к шерстинке, от завитка к завитку, крутые рога отягощали мощный лоб, и одна мысль о кебабе из этого жожака стад казалась кошунственной, нежели идея осквернения могилы пророка (да благословит его Аллах и приветствует!). К бараньему боку тесно прижался заяц, длинноухий бегун, чей мех отливал шафраном. Морда зайца была вытянута больше обычного, на

кончиках ушей трепетали серебряные кисточки, а круглые плоски глаз горели знакомой зеленью -- кошачьей.

Хищной.

-- Там баран,-- прошептал Абу-т-Тайиб, забыв обернуться.-- Клянусь чернилами и каламом; клянусь днем Страшного Суда и укоряющей себя душой, ибо воистину человек всегда остается в убытке! Там баран!.. и заяц.

-- Это мой заяц,-- брюзгливо заметил человек с нимбом.-- Отойди, не раздражай его. И меня. Все-таки помни: ты у меня в плену! Значит, веди себя соответственно. Как подобает венценосному шаху Кей-Бахраму фарр-ла-Кабир.

-- Заткнись, призрак! Наваждение, умолкни! Я -- поэт аль-Мутанабби! Я -- злосчастный неудачник, я лежу в песке пустыни, видя сны о шахском троне, о великой благостыне, о насмешке злого рока, о презрении Аллаха! Я -- ничтожный из ничтожных, я мечтаю, чтобы ныне, ныне, присно и вовеки на своя вернулись круги ложь и правда, боль и сладость, богохульство и святыня; я хочу огня геенны, что и в бездне не остынет!

Человек с нимбом восхищенно цокнул языком.

-- Если бы я умел так играть словами,-- спросил он у котенка под кошмой,-- разве я хотел бы быть султаном Харзы, Баркуком зу-Язаном?!

Котенок согласно мяукнул.

Он тоже не очень-то хотел быть кошачьим владыкой.

Он хотел игры и молока.

Это началось давно, и самые надежные снадобья бессильны были изгнать гостью-самозванку. Во рту всегда было кисло, оскомины сводила челюсти ужасной зевотой, и даже искусно приготовленный кавардак -- жаркое с морковью, бататами, айвой и еще Лунный Заяц знает, с чем! -- казался пресной лепешкой. Драгоценности тускнели, едва на них задерживался глаз, и все чаще перстни летели в отхожую яму, а серьги с ожерельями раздаривались кому ни попадя. Травля барса не веселила, роскошь одежд утомляла, а песнопения льстецов вгоняли в сон.

Посещения гарема стали реже, будто капель затихающего ливня, пока не прекратились вовсе. Смуглянки с Дубанских равнин, гибкие дочери хургских степей, светловолосые лоулезки, купленные за большие деньги -- все они маялись в бассейне Сорока Девушек, утешая себя противоестественными ласками и сладостями. Царственный супруг не призывал их к себе, презрев искусство неги. Упрекнуть султана в том, что его мужская природа изжила сама себя, мог только умалишенный, но...

Жен постигла грустная участь еды, перстней и одежд: Баркук сперва стал кривиться, после -- раздаривать, а там и вовсе забыл.

-- Расскажи мне о пользе сношений,-- как-то велел он личному знахарю, в надежде от пользы перейти к желанию.-- Расскажи без утайки. И я набью твой рот жемчугами, а потом подарю юную невольницу из Кимены, чьи бедра округлы, а нрав кроток. Я слушаю.

-- Поистине, в совокуплении великие достоинства и похвальные дела! -- возопил ободренный знахарь, уже представляя себе округлые бедра вкупе с кротким нравом, а лучшего сочетания трудно себе представить.-- Оно облегчает тело, наполненное черной желчью, успокаивает жар страсти, веселит сердце и гонит прочь тоску, но умножать число сношений в дни лета и осени вреднее, нежели в дни зимы и весны!

-- Отлично,-- Баркук велел позвать сразу трех жен и заставил красавиц плясать перед ним и знахарем, вертя животами.-- Продолжай, о кладезь знаний! И поведай мне теперь о вреде сношений.

-- Частые сношения ослабляют зрение,-- во рту у знахаря разом пересохло, он опустил глаза долу, дабы не видеть искушающей пляски, и хрипло затараторил:

-- От них рождается боль в спине и голове, а особенно опасно сношение с больной или старухой! Берегись, берегись сношений со старухой: это -- одно из дел убийственных!

Баркук вздохнул. Танец жен утомлял, дурак-знахарь утомлял еще больше, и надежды на развлечение улетучивались рассветной дымкой. Рот знахаря был честно набит жемчугами, невольница отошла в его владение, доведя нового хозяина до удара всего лишь за два месяца; а сам султан набрал было в гарем с дюжину старух -- вдруг запретное разгонит тоску?!

Старухи надоели почти сразу.

И все чаще вспоминалось Харзийцу: степь, заклятая Степь Бойцов, куда после долгих мытарств в горах без названия их привели жрецы Лунного Зайца. Их -- восьмерку взыскующих трона, близких и дальних родичей умершего на днях Джалала зу-Язан, обладателя фарра. Метелки дикого овса вдруг расступились перед ними, и серебряные кисточки чутко затрепетали на ушах небывалого зайца. Шафрановая шкурка мелькнула совсем рядом, потом дальше, еще дальше, спелым абрикосом являясь в травах -- и хурги ринулись вдогон, горяча коней.

А солнце над ними желтело старым динаром, шло пятнами и рытвинами, больше напоминая луну, безумную луну, которой вздумалось средь бела дня прогуляться по небосводу.

Таково было Испытание. Они зимним бураном мчались по степи, не видя ничего, кроме вожденной цели, мало-помалу разъезжаясь в разные стороны, топча этот простор, оком без конца-края; их было восемь, и зайцев было восемь, нет! -- не было, их стало восемь, о чем не стоит поминать всуе, а потом молодой Баркук наотмашь хлестнул добычу камчой, в кончике которой была защита капля-свинчатка -- и едва успел отпрянуть: оскаленная морда зайца хищно бросилась ему в лицо...

Он сидел на взмыленном коне, изумленно моргая, а перед ним на коленях стояли жрецы.

Обратно в Харзу вернулся султан Баркук зу-Язан.
Один.

Да! -- все чаще теперь приходила на ум Баркуку далекая Степь Бойцов, дикая гонка за призраком мечты, терзая его долгими ночами до самого утра. И все чаще он вспоминал их: своих братьев и дядьев, окунувшихся в бешеную скачку, в горький аромат полыни, чтобы сгинуть без вести. Где вы теперь, лишённые трона и родины?! -- наслаждаетесь козлодранием в Верхнем Мире? скрежещете зубами в Восьмом аду Хракуташа, искупая грех гордыни?! скитаетесь вне цели и смысла, в горах без имени, в мирах без названия?! Где вы теперь? И кто из нас более счастлив: вы, скитальцы-горемыки, или я, великий султан, носитель фарр-ла-Харза?!

Кто из нас больше приобрел и кто больше потерял?!

Баркук не знал ответа; в последние годы не знал.

И тогда он принялся расспрашивать жрецов Лунного Зайца, призывая их к себе. И тогда он по крохам собрал подобие истины, мертвое чучело, чтобы смотреть на него в минуты скуки, смотреть и утешаться гнусным словом “необходимость”. И тогда он возликовал великим ликованием, когда соглядатаи из Кабира-белостенного донесли... нет, не о смерти шаха Кей-Кобада, славного воина и мудрого политика.

Соглядатаи донесли о странном: о восшествии на престол чужака без роду-племени, вопреки старым обычаям, но согласно воле фарр-ла-Кабир.

Баркуку даже показалось на миг, что это один из восьмерых его родичей вернулся домой, покинув тайные дороги. Глупости? -- разумеется, глупости. Но плащ скуки упал с плеч султана, и ворона раздражения перестала вить гнездо под его чалмой. Новый шах Кабира полновластно воцарился в султанских мыслях, и думать о нем было забавнее, нежели слушать рассказы о песьеголовцах или ведьмах-алмасты. Что есть песьеголовец? -- человек с собачьей башкой! А тут чужак: думает по-другому, видит иначе, дышит невпопад... вот кому счастье! Из праха в шахи!

Небось, млеет сейчас от радости: сказка кончилась, не начавшись. В смысле, враги побеждены, пути завершены, вкушай довольство, пока не придет к тебе Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний -- а это случится ох как не скоро!

“Да, не скоро,” -- вздохнул султан.

И кинул в рот горсть соленого миндаля.

Когда с границ пришли донесения о сожженных становищах, Баркук поначалу не обратил на них особого внимания. Так было, есть и будет. Пограничные племена, белобаранные хурги, вечно устраивали налеты на кабирские селения и городки, ища себе славы, а племена -- богатства. Это мало препятствовало торговле и не мешало добрососедским отношениям. Раз-два в год со стороны Кабира выдвигалась тяжелая пехота и отряды пращников: железным гребнем солдаты прочесывали окраинную степь, напоминая алчным хургам о необходимости платить по счетам; после чего следовало время затишья. И опять -- торговля, налет, возмездие...

Все как у людей.

Но в донесениях проскочила тревожная нотка: в степь пришла не пехота гарнизонов, мастерица оцеплять водопои и учинять ночные налеты. В степь пришли всадники, и этот вихрь едва ли не стремительней хургской лавы! Вдобавок во главе гостей стоит шах Кей-Бахрам собственной персоной.

Баркук с интересом приподнял бровь. Сам шах? С каких это пор карательные меры возглавляются лично венценосцами? Прочь, сука-скука! Жизнь приобретает вкус и цвет! Да что вы говорите?! Жгут и рубят без разбору? Женщин и детей?! Ночной грозой валяются на голову, живут в седлах, забыв о сне и покое? И даже не желают взыскивать убытки?! -- просто жгут и рубят, жгут и рубят...

Лунный Заяц, до чего интересно!

Воистину:

-- Пускай нашей крови потоки текут,
Пусть груды погибших горами встают,
Пусть рушатся скалы и небо на нас --
Спины не покажем в решительный час!

...вскоре из Харзы выступили конные полки. Вел их султан Баркук зу-Язан, вел впервые в жизни, мечтая о встрече с бешеным шахом Кабира. И чувствовал себя молодым: не телом, нет, ибо до сих пор гнул и ломал верблюжки подковы.

Молодым душой.

Султану было восемьдесят четыре года.

3

-- Восемьдесят четыре? -- недоверчиво переспросил Абу-т-Тайиб, разглядывая собеседника. Высокие скулы, так живо воскрешающие в памяти лицо давешнего конвоира, кожа отдает желтизной, напоминая слоновую кость, но морщины не тяготят лба, и губы свежи, как у юноши. Взгляд прямой, любопытный, словно Баркук хочет проникнуть в тайные мысли поэта, и “гусиные лапки” у краешков глаз намечены еле-еле робкой кистью возраста. Жилистые руки спокойны, лежат на коленях, но чувствуется: дай им волю -- взлетят, метнутся, ударят кошачьими лапами! И впрямь: то ли Аллах заткнул уши раба своего затычками непонимания, то ли султан решил вволю поиздеваться над пленным...

-- А что тебя удивляет? -- в свою очередь поинтересовался Баркук-Харзиец.-- Да, восемьдесят четыре, подобно тому, как восемьдесят четыре добродетели определены нам судьбой. Пребываю в

расцвете сил. Вон, Джалал зу-Язан, прошлый владетель моей державы, умер в двести десять лет, а императору Мэйланя -- тому и вовсе сейчас под три века будет. Ну, мэйланьские Сыновья Неба вообще долгожители... Есть ли смысл в шахе или султানে, когда срок их правления короче жизни мотылька? Ведь владыка должен сиять поколениям! Там, откуда ты пришел, иначе?

Абу-т-Тайиб задумался. Сразу вспомнились Абассиды: первый халиф, основоположник династии, пробыл у власти четыре года, зато благочестивый аль-Васик -- целых двадцать шесть; знаменитый Харун Праведный радовал подданных около полувека; но буян аль-Мунтасир удержался в седле повелителя правоверных четыре месяца.

А еще был Ибн-ал-Мутааз, прославленный поэт, но неудачливый заговорщик, прозванный “халифом-однодневкой”...

-- У нас иначе, -- твердо ответил поэт. -- У нас совсем иначе, а тебе, племянник, я не верю.

Племянник, годящийся (если признать его слова истинными!) в отцы поэту, звонко расхохотался.

-- И не надо! Не верь, дорогой мой! Все-таки я был прав, стократ прав, мечтая о встрече с тобой! Ты другой, ты не знаешь вещей простых, как муравьиное крылышко, и скука бежит меня, едва я вступлю с тобой в беседу! Скажи лишь: тебя не заботило, что ты-шах в пятьдесят лет способен гнать коня день и ночь напролет, изматывая опытных воинов, вдвое моложе тебя?! Мои люди докладывали мне о твоих набегах, когда ты менял расположение лагеря быстрее молнии! На твоём лице я вижу шрамы, а в кудрях -- печать седины; ты признаешь мою правоту, когда это окончательно перестанет тяготить тебя!

Абу-т-Тайиб потянулся и взял гость орехов. Разгрыз один, выплюнул шелуху и принялся жевать ядрышко. Жевать зубами, наполнившими его рот -- так новые бойцы приходят на смену погибшим ветеранам. Потом он провел большим и средним пальцами левой руки по носу: от седловины к крыльям. Провел еще раз; и снова. Давняя привычка, но укороченный на фалангу

средний палец сейчас был заметно длиннее.

И на конце его стало образовываться нечто вроде ногтя.

Впору было сознаться: Баркук ткнул его мордой в реальность, в ту реальность, которую поэт упрямо игнорировал.

Безумие? -- ах, если бы... Он ведь честно полагал, что приметы возраста окончательно перестанут тяготить его лишь вне сей земной юдоли. Да и кто бы на его месте полагал иначе?! Аллах, мне страшно поверить, что впереди еще полтора века жизни, счастливой жизни с нимбом вокруг чела и благоговением душ людских!.. Все тебя узнают, словно ты -- беглый клейменный каторжанин, все подыгрывают тебе на доске бытия, подыгрывают честно, с радостью, с искренним ликованием!..

Но отчего же игроку больше всего на свете хочется смешать фигуры и запустить ими в эти сияющие лица, в трепет и благоговение?

-- О, где лежит страна всего, о чем забыл? -- Абу-т-Тайиб сам плохо понимал, что бормочет вслух, со ртом, набитым горькой ореховой мякотью, с сердцем, набитым горькой мякотью сбывшихся надежд.-- В былые времена там плакал и любил, там памяти моей угасшая струна... Назад на много дней мне гнать и гнать коней -- молю, откройся мне, забытая страна!..

Тонкие руки Баркука ожили: тронули бритый подбородок, огладили вислые усы, и строго погрозили котенку, когда тот вознамерился было покинуть укрытие.

-- Последняя любовь и первая любовь, мой самый краткий мир и самый длинный бой, повернутая вспять река былых забот -- молчит за пядью пядь, течет за прядью прядь, и жизнь твоя опять прощается с тобой!..

-- Еще! -- прошептал Баркук-Харзиец, молитвенно складывая ладони.-- Еще, прошу!

-- Дороги поворот, как поворот судьбы; я шел по ней вперед -- зачем? когда? забыл! Надеждам вышел срок, по следу брешут псы; скачу меж слов и строк, кричу: помилуй, рок!.. на круг своих дорог вернись, о блудный сын!..

Абу-т-Тайиб вдруг резко умолк, костяшки сжатого кулака побелели -- и внутри, в темнице каменной хватки, треснули орехи. Пальцы разжались, терпкий аромат ударил в ноздри; по лицу Абу-т-Тайиба струился пот, будто каждая пора обернулась кувшином святого Хызра, источая влагу. В последнее время он все чаще и чаще искал убежища в звуках и ритмах, вывязывая из слов подобие временного ослепления -- но возвращаться обратно тоже становилось все труднее и труднее.

-- Отчего умер Кей-Кобад, мой предшественник?

-- От старости. Таково заключение ваших хабибов.

-- Пускай! Я сошел с ума и верю тебе! Значит, бывшему шаху еще полагалось жить да жить!

-- Полагалось. Но пути фарра неисповедимы. У меня есть только догадки, и я попробую поделиться ими с тобой.

-- Как делятся нищие горстью хлебных крошек?!

-- Нет. Как делятся Баркук фарр-ла-Харза с Кей-Бахрамом фарр-ла-Кабир. Твой предшественник накануне смерти стал тяготиться титулом шаха...

-- О, я его понимаю!

-- Ничего подобного. Ты даже меня сейчас не понимаешь -- куда тебе понять чаяния потомственного владыки?! Особенно если сей владыка втрое старше тебя; и вдвое -- меня. Кей-Кобад решил стать шахин-шахом, царем царей! И нашел для этого самый простой и краткий путь... во всяком случае, так ему казалось. А об остальном ты узнаешь у своих советников -- я лишь намекнул тебе, где искать.

-- Простой и краткий? Советники мне не нужны, милый племянник. Я знаю сей путь -- путь завоеваний!

-- Что?

-- Война -- лучший способ царю стать царем царей... или падалью. Армады кабирцев предают огню Харзу, потом рушатся стены окрестных столиц -- и Кей-Кобад громоздит на своей макушке

дюжину кулахов разом! Я прав?!

Баркук вскочил и запрокинул голову к войлочному потолку. Спустя мгновение дикий хохот сотряс палатку; и Абу-т-Тайиб тупо воззрился на пляшущего султана.

-- Клянусь Лунным Зайцем! Даже юродивому не могла бы взбрести в голову этакая идея! Тогда выходит, что я могу велеть отрезать тебе голову, после обрушить хургов на кабирские полки, лишенные воинского духа; через месяц я сию в твоей столице и величаюсь Баркук фарр-ла-Харза и фарр-ла-Кабир! Каково?!

-- Что тут смешного? -- обиженно спросил поэт.

-- Все! Все, мой милый дядюшка! Ты до сих пор не понял: твое государство -- это ты! Ты сам, собственной персоной, и это нельзя отнять силой или хитростью, это нельзя изменить никаким способом, доступным людям! Убей я тебя -- и глупый Баркук получит не просто мертвеца-шаха. Он получит мертвое государство, у которого с Харзой общая граница! Он получит труп под окнами собственного дома! Пытаясь завернуть в единственный плащ сразу двоих, я порву плащ и останусь голым под проливным дождем! И если я помешаю кабирским хирбедам заново провести Испытание, осятив нового шаха сиянием фарр-ла-Кабир...

Баркук устало сел и сделался очень, очень серьезным.

-- Я помешаю совершить погребальный обряд; я помешаю наследнику покойного вступить в права наследования, и мертвая держава останется мертвой. Наместники, подобно шакалам-мародерам, разорвут труп на дурно пахнущие куски, орды нищих и беженцев червями хлынут через границы... догадайся, куда? На мои земли! Начнется резня -- а она начнется, уж поверь мне! Часть белобаранных хургов, отравленных миазмами гниения, мигом откочует на ваши пустоши, а сияние моего фарра туда не распространяется... Ладно, хватит. Надеюсь, ты и так согласишься мне: иметь под боком гниющего мертвеца -- дело весьма хлопотное.

-- И поэтому твои бойцы не поднимали на меня руку в бою?

-- Да. Ибо убить чужого владыку -- грех больший, нежели изнасиловать собственную мать. За него нет прощения здесь, и нет прощения там, в Верхнем мире Ош-Тэрген.

-- Выходит, я не сумел приобрести врагов?

-- Врагов? Не сумел.

-- И друзей я не сумею приобрести?

-- Друзей? Никогда. У таких, как мы, не бывает друзей. У нас есть подданные. Мы даже между собой связаны узами иными, нежели дружба; мы связаны необходимостью. Боюсь, я разочаровал тебя?

-- Нет. Ты меня убил.

-- Глупости. Через три дня твой спахбед начнет переговоры, угрожая мне нашествием, я покочевряжусь для приличия и отправлю тебя обратно. С почестями. Живехонького-здоровехонького. Понял?

-- Понял. Именно это я и имел в виду.

Глава двенадцатая,

где звенит сталь и крикают утки,

многие вопросы приходят к разрешению,

отчего жизнь становится еще запутанней,

но о том,

что в день Страшного Суда неверные будут пресмыкаться ниц,
верные будут ходить прямо, а благочестивые смогут лететь на белых
верблюдах с седлами из чистого золота --
об этом даже не вспоминается, что греховно само по себе.

...они врут!

Они все врут: и желтолицый Харзиец, и хитроумный Гургин, и дерзкая хирбеди, и однорукий Омар Резчик -- врут словами, наготой, ударом, всем телом врут, всем делом; домом и дымом, лестью и мезтью, они притворяются, потому что иначе впору кинуться головой в омут!

“Конечно,-- успокаивающе нашептывает ветер в уши.-- Ты прав: они коварны, они лживы, они...”

Замолчи!

Ты тоже врешь!

Узорчатые пятна лишая лежат на боках камней, одуряюще пахнет сухая полынь, и упругий конский волос растет из земли вместо ковыля. По измятому войлоку степи ползают тьмы насекомых -- взблескивая жвалами и панцирями, изрыгая струйки сизого дыма, ставя походные муравейники, копошась, копошась...

Хоть бы один косой взгляд! Хоть бы один... Нет, они кланяются -- враги кланяются, те самые хурги, которых ты топтал копытами своего коня, воздев знамя бессмысленной жестокости! Ненавидеть можно равного, можно -- высшего, ненавидеть открыто или втихомолку; но нельзя ненавидеть символ державы, или даже не символ -- державу целиком, со всеми ее реками и солончаками, городами и селами, солнцем над горами и дождевым червем на куске дерна! Аллах, смилуйся, скажи, что я ошибся, что это бред, горячечный бред, или лучше -- смертный сон... Аллах, ну что тебе стоит? Да, я частенько пропускал время утренней молитвы, и время молитвы вечерней я пропускал тоже, я пил вино и зло шутил шутками недозволенными -- но зачем же награждать таким страшным образом?

Изгой, подонок, выпавший из гнезда птенец... шах.

Мой предшественник умер, возжелав стать шахин-шахом. Самоубийство -- тягчайший грех, ибо душа дана нам временным залогом от Господа миров, как гласит Книга Очевидности, а самовольно распоряжаться чужим имуществом никто не вправе. Но если очень захотеть стать царем царей, то может быть... Они все сошли с ума! Гниющий труп под окнами дома?! Ха! Если не путь завоеваний, то где, в каких тайниках отыскал злосчастный Кей-Кобад способ из шаха превратиться в шахин-шаха, не расширяя границ государства? Просто сказать на майдане: я -- владыка владык? Сказать, чтобы благополучно преставиться на следующий день... от старости.

От старости, прожив два обычных жизненных срока?!

Е рабб, они все врут, они сумасшедшие, а я давно уже превратился в мумию, в сухую падаль под песчаным мавзолеем!

Е рабб...

Пленный государь невозбранно шляется по вражескому лагерю: остановите меня! пригрозите мне! отберите ятаган, висящий у меня на боку! верните меня в палатку, под стражу!

Дождетесь, я сбегу!

“Беги,-- издевается ветер, щекотно приникая к уху.-- Беги, Кей-Бахрам, по степям, по горам... беги...”

Озерный берег густо покрыт кустами тальника, не давая суховею коснуться влаги обжигающей дланью. В высоких камышах крикают дуры-утки, и синь неба опрокидывается навзничь в свежесть и прохладу, синь неба, синь глаз упрямой Нахид-хирбеди -- о люди с глазами этого цвета, подлейшего из подлых! Что скрываете вы за невинной голубизной взора? Какие тайны прячутся в бочагах ваших черных душ... глупец! “Небоглазый” Дэв простодушной дитяти, даром что с младенчества в разгуле, а “небоглазый” Гургин хитрей Иблиса -- что между ними общего? Комарье вьется вокруг, истекая малиновым звоном, и в звоне рождается сперва лязг металла, вскрик боли, а потом являются слова, чужие слова, где есть все -- и лязг, и вскрик, и твердость:

-- Во имя справедливости, я прошу у полкового бунчука крови этого отродья шакалов!

-- Да будет так! -- гремит ответ многих глоток.

И смех.

Страшно знакомый смех, он пенится бурой накипью, запекшейся кровью, смех встряхивает реальность, как бродяга -- стаканчик с игральными костями; самозабвенное веселье безумца за шаг до вечности.

Они все здесь повредились рассудком... все!

По плечу хлопает узкая ладонь. Это Баркук, султан Баркук: незаметно подойдя сзади, он чхмыляется и тычет пальцем перед собой.

-- Я же сказал тебе, брат моего отца: поднять руку на чужого владыку -- грех большой, нежели изнасиловать собственную мать. А ты не верил... Этому молодцу еще крупно повезло: он падет в честном поединке, искупив содеянное. Ты явился полюбоваться, брат моего отца?

Смех вторит сказанному; вторит эхом, отголосками запредельности.

И утки крякают в камышах.

2

Две дюжины вооруженных хургов угрюмо столпились на берегу.

Папаха каждого -- из черного каракуля в мелких завитках.

-- Я... прошу... крови...

Перед хургами -- копейное древко бунчука вонзилось в землю, и лошадиный хвост слабо шевелится от ласки ветра. В двух локтях за бунчуком -- мертвец в кольчатом доспехе, разрубленный от ключицы до пояса; поодаль лежит еще один труп, без головы. Голова в папaxe из черного каракуля откатилась почти к границе воды, и любопытный рачок щипает клешней странную штуку.

Между убитыми, шатаясь, стоит молодой боец с тяжелой секирой в руках. Рубаха из белого карбоса-хлопчатки заправлена с напуском в короткие, до колен штаны; поверх шерстяных чулок натянута щегольские сапожки, вышитые по голенищам мелким бисером. Правый рукав изрядно подтекает багрянцем, и еще ухо -- оно висит на полоске кожи, страшной серьгой касаясь плеча. Боец смеется взхлеб, берет ухо за мочку и коротко дергает. После чего отшвыривает кусок собственной плоти прочь, и бывшее ухо шлепается в прибрежную грязь.

Хургов передергивает от этого смеха, но крайний воин с саблей наголо уже идет к одноухому.

Мягко, вкрадчиво... убивать идет.

Или умирать.

-- Ар-Раффаль,-- говорит султан Баркук, и, видя непонимание на лице Абу-т-Тайиба, уточняет.-- Это парни секиру его так прозвали. Ар-Раффаль, "Улыбка Вечности". Думаю, еще троим улыбнется, по меньшей мере -- пока они его завалят. Давай об заклад биться: на каком однополчанине наш бешеный Утба кончится? Я говорю, что еще трое; а ты?

Абу-т-Тайиб сплывает горькую слюну. Он только что узнал бойца в белой рубахе. Это его удары едва не прикончили поэта в свалке близ крепости, это над ним шах Кабира бился с хургами, шалея от бессмыслицы происходящего, не давая своим прикончить своего. Что, шах, значит, все зря? Там не добились, здесь довершат? Бьемся об заклад, Баркук? -- я говорю, что он умрет, так или иначе, сейчас или позже, на пятом или шестом противнике, но умрет!

Ставлю весь Кабир, будь он проклят!

Что говоришь ты? А, ты соглашаешься: да, конечно, он умрет... Он поднял руку на шаха. Я понимаю, лучше бы он изнасиловал свою мать или запек в чуреке новорожденного младенца! Я понимаю...

Еще плохо соображая, что и зачем он делает, поэт быстро идет вперед, к секире, сабле и бунчуку.

-- Остановитесь!

Смех плещет в лицо, но бешеный Утба остается на месте. А хург с саблей даже отступает на шаг, не забыв поклониться в пояс кабирскому владыке.

Пленнику.

-- Кто смеет убивать шахского побратима?! Мы смешали свою кровь на поле боя, отныне и навсегда этот человек -- мой кровный брат! Отдайте его мне или деритесь с нами обоими!

И ятаган покидает ножны, бросив отблески на окровавленный полумесяц секиры ар-Раффаль.

-- Ты понимаешь, что делаешь? -- тихо спрашивает Баркук-Харзиц.

Спрашивает так, как если бы они были здесь вдвоем: фарр-ла-Кабир и фарр-ла-Харза.

-- Нет,-- улыбается поэт.-- А что, это важно?

-- Для меня -- важно,-- улыбается в ответ султан.-- Потому что у меня не было возможности помиловать Утбу, а ты мне эту возможность подарил. Я -- твой должник, брат моего отца.

И уже в полный голос:

-- Все слышали? Великий шах Кей-Бахрам осенил своего побратима блеском царственного фарра, и короста позора оставила полковой бунчук! Да будет так!

Бешеный Утба смеется и падает на одно колено.

-- Тебе нужен пес, мой шах? -- спрашивают хохот, секира и рубака в пятнах крови.-- Пес, чтобы спать у двери и грызть твоих врагов? Если да, то возьми меня.

-- Мне не нужен пес,-- Абу-т-Тайиб подходит близко-близко и долго смотрит на того, кто осмелился напасть на запретную дичь; на того, кто умирал за это весело и легко.-- Вокруг и без того слишком много псов, готовых спать и грызть. Мне нужен ты.

Глаза у бешеного Утбы голубые.

Прозрачно-голубые; и там, в талой воде, искрятся безумные пузырьки смеха.

Он был дальним родичем султана Баркука по материнской линии; очень дальним, но как и все потомки чресел Язана Горделивого, имел право именоваться Утбой зу-Язан. Впрочем, упрямый Утба зачем-то нарек своего первенца именем великого предка, а себя -- не зу-Язан, а Абу-Язан, то бишь “Отец Язана”. Что это должно было означать, не знал никто, похоже, включая и самого шутника; но открытой крамолы здесь не наблюдалось, а к странным поступкам Утбы все давно привыкли.

Еще с позапрошлого года, когда султан, вняв уговорам матери, призвал родича ко двору.

Любимец женщин, Утба дарил старух долгими беседами, а молодых -- пылкими ласками, но истинной любовью он любил только свою секиру, доставшуюся ему в наследство от отца. Редкое оружие для коренного хурга, тяжелая ар-Раффаль в руках Утбы становилась проворней змеиного жала и красноречивей площадного сказителя. Мало кто успевал достойно отвечать на ее вопросы, и султан Баркук часто приходил глядеть на воинскую потеху, когда веселый Утба Абу-Язан давал волю себе и отцовской секире.

Осенью юный фаворит принес клятву на стали и огне, став есаулом в полку “Вороноголовых” -- личной султанской тысяче головорезов.

Почти сразу начав смеяться.

Едва осиную талию Утбы охватил складчатый кушак, где была вышита вязь полкового девиза, едва буйную голову увенчала папаха из черного каракуля, как жемчужина странного веселья сверкнула в перстне его жизни. Красавицы, за три фарсанга благоухающие вэйскими духами, делились тайнами; и в их тайнах мужская неутомимость, неистовствуя на ложе, смеялась знакомым смехом. Двор султана прикусывал языки удивления зубами сдержанности: на аудиенциях и приемах послов хохотал он, веселый Утба Абу-Язан, а Баркук лишь увеличивал свое благоволение к весельчаку. Лекарей брала тихая оторопь -- когда бритва целителей погружалась в плоть раненого

есаула, он смеялся в лицо боли, смеялся в голос, до слез, и боль в ужасе отступала.

Однажды некий раб Лунного Зайца явился к султану Баркуку незванным, и бросил шапку преклонения к подножию трона.

-- Отошли Утбу куда-нибудь подальше,-- если опустить многочисленные восхваления, вот что осталось от речи служителя веры.-- Если ты хочешь ему добра, освободи его от службы и избавь от необходимости быть рядом с тобой. Или хотя бы просто -- освободи. Пусть Утба снимет папаху и развяжет кушак. Мой султан! -- сделай это, пока не поздно.

Когда же Баркук потребовал объяснений, уста советчика запечатала печать молчания.

Клинок султанского гнева готов был вырваться из ножен, но рука благоразумия остановила порыв: именно этот раб Лунного Зайца сопровождал молодого Баркука через горы без имени в Степь Испытания.

Служитель веры ушел с миром; но султан пренебрег его мнением.

А Утба смеялся.

Пока не кинулся в горячке боя на кабирского шаха -- что верней палаческой удавки грозило привести сей смех к естественному завершению.

* * *

Когда Утба заснул -- как и обещал, на пороге шатра, в обнимку с секирой -- Абу-т-Тайиб еще долго сидел на кошме, перебирая в горсти последние события.

Голубые глаза Дэва закрылись бы навеки, не сними с него поэт сотничьей шапки. Веселый Утба оставался жив, нося харзийские знаки служения власти, но назвать его рассудок здоровым означало соврать. Одно покушение на жизнь чужого шаха, запретное для любого хурга... И еще маг Гургин -- этот отказывался от кулаха истовой, чем Иблис (да будет его имя вечно проклято!)

отказывался кланяться Адаму. Где-то здесь крылся ключ к потайным сундукам, где-то здесь бродили призраки, ухмыляясь мертвыми осками; но спрашивать об этом у Баркука не имело смысла.

Зря, что ли, дерзкая Нахид обмолвилась:

-- Ты чужак. Но даже будь ты природным кабирцем из шахского рода... Никогда.

Полагаю, рабы Лунного Зайца тоже не балуют султана лишними откровениями...

Интересно, есть ли предел верности здешних жителей олицетворению их же собственной державы? Какие запреты нужно преступить, какие заповеди опровергнуть, чтобы Омар Резчик всерьез посягнул на помазанного владыку, чтобы кочевой хург восстал... да что там восстал! -- просто обиделся на своего султана! Ну пусть хоть вполголоса признает некий поступок владыки частично ошибочным! Что для этого надо?! Сжечь хургова деда, велеть гургасарам изнасиловать вольного Омара, помочиться на их алтари... Что?!

Абу-т-Тайиб боялся признаться самому себе: то существо, которое молча вставало внутри его рассудка, расправляя шипастые крылья -- оно было готово испытать терпение кабирцев великим испытанием.

Он никогда не был излишне мягок, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, но эти люди вокруг... они не люди!

И значит, можно все.

Кто дерзнет разгадывать помыслы Вседержителя? -- а он, бродяга-певец, не хочет быть живым божеством, не хочет даже не потому, что большего кощунства трудно и придумать...

Вы даете мне все, и когда я роняю поданное, вы нагибаетесь, чтобы вновь подать мне -- все.

Спасибо, не надо.

Я возьму сам.

-- ...а ежели я тебя, не спросясь, копьцом ширну?

-- Слушай, человек-гора, совсем башку крысы выели?! Сказано тебе: вон иди... шах почивать изволят!

-- Нет, ты ответь мне, хургова твоя рожа: а ежели я все-таки копьцом -- и пройду?

Смех.

-- Пройдет он... Одна половинка пройдет, зато другая здесь останется! Видал секирку? Она таким речистым живо укорот дает...

-- Ох, хург, не будь я посол... Тоже мне, караул-беги выискался, держи-хватай!

-- Он посол! Сходи к озеру, на харю свою глянь, посол! Бараний мосол! Оглоблю вместо копья приспособил и туда же!

-- Ох, сдается мне, хург, ты меня обидеть норовишь...

-- Эй, там! -- рявкнул Абу-т-Тайиб, еще не до конца покинув равнины сновидений.-- Заткнулись бы, что ли?

-- Твое шахское! -- радостно возопили из-за полога, да так, что у поэта мигом заложило уши.-
- Я тебя спасать иду, а этот пустосмех дорогу загораживает! Ты мне прямо скажи, твое шахское: ширять его копьцом или погодить маленько?

-- Дэв? -- подскочив на груди стеганых одеял, которую хурги именовали курпачой, Абу-т-Тайиб спешно принялся натягивать шаровары.

Ноги никак не хотели попадать в штанины, о кушаке и вовсе забылось в горячке, но через минуту голый по пояс шах Кабира уже стремглав вылетел наружу.

Врезавшись в широкую и горячую скалу, на поверку оказавшуюся Дэвовой грудью.

-- Ты, шахское твое, брось мотаться-то паленым зайцем! -- буркнул сотник-разбойник, мигом

срывая с себя плащ и заботливо укутывая им поэта.-- С утраца ветрено, не ровен час, прохватит тебя... а плен -- не мамка! Ослаб, чай?!

Рядом смеялся Утба, опершись на свою неизменную секиру.

Абу-т-Тайиб отстранился от могучего юз-баши и принялся разглядывать пришельца. За истекшие дни Худайбег, казалось, стал еще больше: подрос, заматерел, обзавелся брюхом площадного борца-пахлавана -- что, впрочем, не делало его малоподвижным. Удивляло еще и другое: чудовищно волосатая грудь, выпиравшая из-под распахнутого чекменя. Прямо чащоба дремучая; давным-давно в Куфе один невольник-саклаб рассказывал поэту о таких чащобах в его родной сторонке. Да и лоб юз-баши выпятился несуразно, брови нависли горными утесами, ероша поросль можжевельника и аргавана: а под утесами зияли два небесных колодца.

Глаза Дэва, лучившиеся искренней заботой.

-- Мой шах, позволь рабу задать вопрос! -- веселый Утба крутанул секиру, брызнув зайчиками с полулунного лезвия.-- Это твой шут? И позволена ли для меня его жидкая кровь?

-- Да уж не жиже твоей,-- проворчал Дэв, вполоборота скосясь на нахала.-- Слышь, твое шахское, может, мне в нем дырок понаделать? Или башку отвернуть, как куренку? Ишь, выдумал: шут...

Абу-т-Тайиб повернулся сразу к обоим задирам и посмотрел сперва в одни голубые глаза, а потом в другие, такие же голубые.

Смешливые огоньки боевого безумия мало-помалу зажигались в первых; забота во вторых исподволь сменялась тихой безмятежностью пропасти, где крик -- и тот тонет без следа.

-- Прекратить свару! И любить друг друга, как меня самого! -- строго приказал поэт. Гоня шальную мысль: если правы Гургин и султан, то окажись на месте этих двоих люди с глазами карими, черными или какими иными, приказа вовсе не потребовалось бы. С полузвука уловили бы, вникли, расстарались... возлюбили бы не за страх, а за совесть!

Нагая девица у обочины шахской дороги.

Плачущий Суришар.

Отрубленная рука Омара Резчика.

Кланяющиеся хурги, чьи становища он жег; и безнаказанность в бою.

Эти двое, “небоглазые” изгои, чья жизнь была безрассудно выкуплена у пекла им, Абу-т-Тайибом аль-Мутанабби -- их сопротивление его приказу было стократ дороже любого послушания.

И свершилось: страшное веселье стало покидать голубизну взгляда Утбы Абу-Язана, а затем сомкнулась пропасть взора Худайбега аль-Ширвани по кличке Дэв.

Неохотно, не до конца -- и все же, все же, все же...

Где ты, дерзкая ослушница Нахид-хирбеди?

Почему не рядом?

Почему?!

* * *

Уже готовясь к отъезду -- маг Гургин в качестве главы посольства превзойдет самого себя, а султан Баркук отпустит пленного с почестями и без выкупа -- Абу-т-Тайиб вспомнит рассказы слепца о “пятнадцатилетнем курбаши”.

И напрямик спросит у Дэва:

-- Сколько тебе лет?

Могучий юз-баши задумается, неуверенно трижды покажет шаху растопыренную пятерню, а потом еще один согнутый палец.

-- Кажись, столько, твое шахское... А что?

Рядом рассмеется Утба Абу-Язан.

КАСЫДА О ПОСЛЕДНЕМ ПОРОГЕ

Купец, я прахом торговал; скупец, я нищим подавал,
глупец, я истиной блевал, валяясь под забором.

Я плохо понимал слова, но слышал, как растет трава,
и знал: толпа всегда права, себя считая Богом!

Боец, я смехом убивал; певец, я ухал, как сова,
я безъязыким подпевал, мыча стоустым хором,

Когда вставал девятый вал, вина я в чашку доливал
и родиную звал подвал, и каторгою -- город.

Болит с похмелья голова, озноб забрался в рукава,
Всклокочена моя кровать безумной шевелюрой;

Мне дышится едва-едва, мне ангелы поют: “Вставай!”,
Но душу раю предавать боится бедный юрод.

Я пью -- в раю, пою -- в раю, стою у жизни на краю,
Отдав рассудок забытью, отдав сомненья вере;

О ангелы! -- я вас убью, но душу грешную мою
Оставьте!.. Тишина. Уют. И день стучится в двери.

Глава тринадцатая,
в которой повествуется о жабах и богомолах,
о странных взглядах и худых делах --
но об условиях молитвы, как то: чистота членов, прикрытие срамоты,
наступление должного времени, обращение в сторону кыблы
и стояние на чистом месте --
обо всем этом не упоминается даже словечком!

1

...Человек сидел на берегу пруда и смотрел, как охотится большая бурая жаба, сплошь
покрытая склизкими бородавками.

Жаба терпеливо ждала. Только тяжело вздымающиеся бока выдавали ее, не давая спутать с
одним из таких же бурых, поросших плесенью камней, разбросанных вокруг. Жаба ждала. И человек
ждал.

Они дождались: неосторожный кузнечик с треском упал на берег пруда, на свою беду решив
покинуть спасительные заросли травы.

Дальше все произошло быстрее гнева Аллаха -- кощунственное сравнение, но много ли знают
земноводные твари о кощунствах?! Жаба выплеснулась колодезной водой, когда сверху малыш-

шалун сбросит увесистый булыжник; она мигом оказалась на пол-локтя левее -- и коротко плюнула языком. Кузнечик исчез, как не бывало, а человек счастливо рассмеялся.

-- Я -- это ты! -- булькнул он, клокоча горлом.-- Я -- тоже жаба! Большая-большая жаба...

В этот момент они были действительно похожи.

Человек резво подпрыгнул, плюхнулся задом на берег, явно намереваясь раздавить бородавчатую охотницу -- но не тут-то было! Жаба оказалась все же проворней; теперь она шумно шлепала прочь по мелководью, грузно поводя боками и костеря на своем жабьем наречии человека со всей его родней до четырнадцатого колена!

Человек хитро улыбнулся и погрозил жабе пальцем.

2

Дождь. Сыплет и сыплет, и нет чтоб ливень -- прошел и схлынул; плетется бездомным бродягой, никуда не торопясь, а когда весь выйдет -- никому неизвестно. Мокро отблескивают серые спины каменных плит, мелочь капли собирается вместе и стекает по остроконечным шлемам выстроившихся во дворе стражников. “Ночные псы” мокнут, сырость заставляет набухать трещотки за кушаками, шлемы и прочее железо потихоньку ржавеет от скуки этого однообразия: грязного, пустого, зябкого -- а перед строем мечется человек-жаба. Ему-то, жабе, хорошо: дождь -- самое что ни на есть жабье время; зато остальным каково?

А никаково! Стоят, смотрят, не кривятся, не радуются. Все идет, как от веку положено -- чего кривиться, чему радоваться? Служивое дело малое: скомандовали “Стройся!” -- бегом в строй, и стой, пока не услышишь: “Р-р-разойдись!”. А дождь себе дождем -- небось, не сахарные, не растают!

Перед строем застыл однорукий змеевласец -- новый Владыка Ночи, под чьим началом теперь будут служить все эти люди. Предыдущий Владыка Ночи, лишенный звания без объяснения причин,

стоит тут же, в позорной позе, и двое рабов охаживают его нагайками.

Значит, так надо.

Так должно быть.

Человек-жаба вприпрыжку движется вдоль замершего строя, заглядывает в лицо очередному стражнику... Что-то он там ищет, в складках и морщинах, в темной глубине глазниц -- ищет, не находит, плюет на спину одной из плит, и вот он уже переместился дальше; миг -- и жабий взгляд испытующе шупает лицо другого... но снова не находит искомого.

Жаба скачет дальше.

И дождь -- дальше...

Тот же крепостной двор, тот же дождь, те же мокнущие под дождем стражники. Только бывший Владыка Ночи, получив свою долю битья, уже встал в общий строй -- а его преемник не стоит столбом, расхаживает взад-вперед, подкручивая единственной рукой тонкие сабельные клинки усов и искося оглядывая “псов”.

-- Ну что, дерьмо чаушиное, выкормыши песчаных ведьм, думали век службу катать верблюжьим катышем? -- хлещет по лицам плеть-голос змеевласца.-- Наели брюхо, срамоты не видать! Когда-то таких, как вы, звали “быстрорукими”... Ха! Нищий быстрее хватает подачку, чем вы -- воров да разбойников! Впрочем, подачки вы тоже хватать успеваете... Ничего, за мной не залежится: готовьтесь к правезу! Не будь я Омар Резчик! Сегодняшний дозор -- ко мне, остальным разойтись. Свободны.

Человек-жаба припал к высокому парапету. Сквозь желтоватую листву лоз, тесно оплетающих парапет, блестит лишь один выпученный глаз, который вряд ли кто-нибудь сумел бы разглядеть снизу.

Болезненный интерес сквозит во взгляде. Ощупываются лица “псов”, чутко ловится каждое произнесенное внизу слово. Позади стоит молодой Волчий Пастырь. Он смотрит мимо, думая о

своем, но когда глаза его мимо воли скользят по раскорячившейся, распластавшейся по парапету фигуре -- в этих глазах мелькает легкое недоумение.

И еще -- преданность.

Наконец человек-жаба ударил парапет кулаком и молча двинулся прочь.

Ожидание не увенчалось результатом.

Кузнечик ушел.

3

Высокие, гулкие своды. Мрак прячется по углам, копится под потолком, в нишах -- пролитые чернила, сурьма... тюрьма для света. И редкие пасынки солнца, которым так одиноко и страшно в длинной пустоте коридора, трепещут, мечутся, всплескивают рукавами...

Тишина.

И вдруг: хлопанье дверей, топот ног, невнятная скороговорка приглушенных голосов.

Мрак спешит просочиться туда, дальше, за поворот, взглянуть, что там происходит; обрывки света испуганно перемигиваются... ждут. Их время пришло: мрак в испуге отшатывается назад, за угол, потому что там, дальше -- свет, там нет места пролитым чернилам! А пасынки солнца оживленно передают друг другу то, что успели увидеть наиболее везучие из них.

Восседающий на подушках человек-жаба -- золоченый халат в мельчайшую полоску заляпан пятнами жира, расстегнуты пуговицы из узелков шелка, наружу вывалилось волосатое брюхо, которое человек-жаба время от времени почесывает с видимым удовольствием.

Вокруг -- люди. Почтительно застыли у стен, склонились пред жабой, распростерлись ниц...

Кваканье.

-- Это наш новый мустауфи, то бишь казначей -- будь проклят ваш пехлевийский язык вкупе

с вами, безмозглыми! Мы повелеваем! Подать нам пояс, кулах и перстень!.. Что? Неграмотный? Кто неграмотный -- ты?! Ах, ты и есть новый казначей... Приставим к тебе дабира-помощника. Грамотного. А старого казначея -- в зиндан!

Один из людей на полу -- грязный худой оборванец с бельмом на левом глазу и редкими седыми прядями, зализанными поперек плечи. Он восторженно принимает из лап человека-жабы перечисленные регалии. Собственная неграмотность его боле не страшит. Тем временем двое телохранителей, по знаку Волчьего Пастыря, подхватывают с пола благообразного старичка в синей кабе-одноцветке; старичка уволакивают прочь. Бедняга висит в мертвой хватке провожатых, и на лице его написано полное смирение.

А еще -- понимание.

Человек-жаба обводит присутствующих взглядом, тарачит буркала. Он ждет, он пытливо ищет на лицах присутствующих -- чего?! Нет, не находит и, икнув, отсылает всех прочь.

Удаляются шаги.

Скрип закрываемых дверей.

Тишина.

И зябко ежатся, оглядываясь по сторонам, комочки живого света. Им страшно. Им жалко благообразного старичка, который безропотно отправился во тьму зиндана, даже не попытавшись сказать хоть слово в свое оправдание.

Но у них, у живых и теплых пасынков солнца, никто не спрашивает их мнения.

А жаль.

Жаба на лошади -- то еще зрелище, но человеку-жабе на это, по-видимому, наплевать. А все

остальные отчего-то не спешат хохотать, хватаясь за животы, хрюкая, сгибаясь пополам и указывая пальцами на сию несуразицу. Жаба на лошади! Ха-ха-ха! Отчего же вы не смеетесь, уважаемый? А вы? И вы? Неужели не смешно? Ну, как хотите.

А жаба тем временем едет дальше.

В сопровождении Волчего Пастыря, да еще хмурого дылды-старца с бородавкой под носом, похожего на седого богомола; да еще десятка “волчьих детей”.

Едет.

Дальше.

Вдруг человек-жаба дергает лапой, и вся кавалькада разом останавливается.

-- Погляди-ка, какие у нас здесь красавицы! -- расплывается в ухмылке жабий рот.-- Нет, это, конечно, богохульство и непотребство, да простит меня Аллах, всемилостивый и всемогущий -- но нам нравится, что здесь женщины не закрывают лица! Эй, Волчий Пастырь, вон тех двоих - - во дворец. И еще вон ту, толстую. Да-да, именно ее... Е рабб, красавицы, вы нам по душе! Все. Вы замужем? Да? Все трое? Отлично! Эй, кто-нибудь там, найдите их мужей -- грех разлучать семью! Мужья тоже поедут с нами!

И снова -- короткие, быстрые взгляды, мельканье жабьего языка: туда-сюда, туда-сюда... не уследишь.

Ничего. Ничего не может ухватить взгляд-язык, ничего из той добычи, о которой мечталось; и, разочарованный, взгляд втягивается обратно.

Едут.

Дальше...

* * *

-- Ты, ты и ты. Шаг вперед! Молодцы! Хорошо несете службу! Вот вам поощрение -- по красавице каждому. Приступайте. Прямо здесь и сейчас. Эй, мужья! Встать у стены и следить: чтоб ваши жены остались довольны! Если что не так, подскажите нужную ухватку...

Скрип двери.

Удаляющиеся шаги.

Но вот человек-жаба останавливается -- и, крадучись, бесшумно возвращается обратно.

Припадает глазом к тайной прорези в двери.

Смотрит.

Он все еще надеется увидеть.

Что?

Ну уж во всяком случае совсем не то, что творится в оставленных им покоях. В тронной зале, где обычно происходят собрания представителей четырех сословий. Теперь же здесь троица молодых гургасаров рьяно удовлетворяет томно стонущих красавиц. Ту, вон ту, и еще ту, толстую. Да-да, именно ее... Рвение "волчьих детей" вполне объяснимо; стоны красавиц тоже удивления не вызывают -- небось, мужья-тюфяки их не часто балуют! Но вот эти самые мужья-тюфяки, которые стоят у стены и время от времени подсказывают гургасарам нужную ухватку...

Вот это уже ни в какие ворота не лезет! Даже в дворцовые. Ни гнева, ни слез обиды, ни мятежа -- ничего!

Вежливая заинтересованность.

Человек-жаба отворачивается и медленно, нога за ногу, плетется прочь по коридору.

-- Ква...-- бормочет он себе под нос.-- Ква...

-- Вставай, старая развалина. Поговорим.

Они вдвоем: старец-богомол и человек-жаба. Богомол почтительно ждет, и наконец жаба соизволяет булькнуть:

-- У нас долго не доходили руки до вашей богопротивной веры -- но пора искупать грехи. Готов ли ты встать на путь истинный!

-- Владыка осведомлен о Предвечной Истине? Он желает зажечь в сердцах неразумных детей своих ее огонь?

-- Ишь, загнул... Да, желает!

-- Слово владыки, отмеченного благодатью Огня Небесного -- закон. Я внимаю с благоговением. Чего ждет от меня и рабов своих владыка?

Человек-жаба на мгновение теряется. Похоже, он ожидал совсем другого: споров, пререканий, теософского диспута, в конце концов; злобы ожидал -- пусть даже тайной, скрытой от глаз, но вполне ощутимой.

Что же ты, седой богомол?!

Квакание:

-- Во-первых, необходимо возгласить: “Нет бога, кроме Аллаха, единого, не имеющего товарищей; Мухаммад -- раб и посланник Его, и пророк мой; правоверные -- мои братья, и добро -- мой путь.”

-- Это мудрые слова,-- серьезно кивает богомол.-- Возглашаю: “Нет бога, кроме Аллаха, единого, не имеющего товарищей; Мухаммад -- раб и посланник Его, и пророк мой; правоверные -- мои братья, и добро -- мой путь.” Хоть я и не знаю, кто такой этот Мухаммад; и что означает Аллах. Может быть, это одно из имен владыки?

-- Не богохульствуй, проклятый зиндик! -- человек-жаба явно раздражен. Кузнечик попался гнилой. Безвкусный. Жабе не нравится такой кузнечик. Жабе вообще все не нравится...

-- Будь проклят мой дерзкий язык! -- соглашается покладистый богомол, скребя бородавку.-- Но что еще надлежит делать мне, невежественному? Каковы обязательные правила новой веры?

-- Обязательные правила таковы,-- нехотя квакает человек-жаба.-- Провозглашение от чистого сердца того, что ты уже произнес; вознесение молитв; раздача милостыни; пост в Рамадан; и паломничество к священному храму Аллаха для тех, кто в состоянии его совершить. Для начала достаточно. Позже я дам дополнительные указания. А пока доведи все это до сведения жрецов.

-- Радость и повиновение, мой повелитель!

Жаба угрюмо смотрит вслед богомолу.

Караван верблюдов-дней неторопливо брел через пустыню Вечности с востока на запад. Огонь Небесный, сотворенный Аллахом, припекал все жарче, на деревьях начали распускаться листья, свежие весенние ветры выдували из улиц и переулков человеческих душ хлам, скопившийся там за долгую зиму -- и как-то раз человек-жаба, слепой к весне и глухой к переменам, решил взглянуть на плоды своих усилий.

-- Когда начинается утренняя молитва? -- без всяких предисловий поинтересовался он у богомола, вызванного в его покои ни свет ни заря.

-- Через полчаса, владыка,-- без запинки ответил с пола старец.

-- Отлично. Мы желаем посмотреть.

-- Владыке угодно посетить главный храм?

-- Нет, не главный! Меня не проведешь...-- бормочет узкогубый рот, плюясь пеной.-- Какой-нибудь захудалый храмишко, на окраине города, до которого можно добраться за эти полчаса.

-- Радость и...

-- Знаю, знаю! -- обрывает богомола человек-жаба.-- Собирайся, поехали!

Жарко горит огонь на старом алтаре, освещая ряды коленопреклоненных горожан, и гулко разносится под сводами голос хирбеда:

-- Нет бога, кроме Творца, единого и не имеющего товарищей!

“Хитрые гяуры...-- ворочаются жабы мысли.-- Или уже не гяуры?”

-- Нет бога, кроме Творца...-- нестройно вторит толпа.

-- И возжег Творец в небе Огнь Небесный, дабы осветить души детей своих...

Человек-жаба молча скачет к выходу, где в ожидании милостыни толпятся нищие.

-- Паломники отправились в путь еще десять дней назад, мой повелитель,-- деловито сообщает в спину богомол.

-- Какие еще паломники?!

-- Те, которые двинулись к священному храму Творца, именуемого Аллахом! -- поясняет старец.-- Как и было предписано: те, кто в состоянии совершить паломничество...

“А ведь дойдут же! Дойдут, найдут, поклонятся -- и обратно вернуться! Интересно, а если приказать добыть луну с неба?..”

В голове возникает ночной небосвод: сиротливый, голый... и жабий рот кривится, как от хинной горечи.

Нет, проверять решительно не стоит.

Злость жжет душу. Одним прыжком жаба возносится в седло и хлещет коня камчой.

“Ква!..ква...” -- зло отдается в висках конский топот.

6

...Свадьба была в самом разгаре. Жених, в халате алого шелка, в высокой шапке с меховой опушкой, восседал рядом с пышногрудой невестой; и звенели золотым дождем мониста

новобрачной. Молодые не сводили друг с друга глаз, а за огромным свадебным столом тем временем провозглашались здравицы: естественно, за здоровье жениха и невесты, за здоровье родителей жениха и родителей невесты -- отдельно, за будущих многочисленных детей жениха и невесты; помянули также всех присутствующих и отсутствующих родственников и друзей жениха с невестой, потом раза три подряд выпили за какую-то никому не ведомую тетушку Шамсу...

-- Веселятся,-- булькает себе под нос человек-жаба, придержав коня и глядя через низкий дувал на шумное застолье.-- Кто смеет веселиться, когда сердце наше в печали?!

Глаза его недобро сощурились.

-- Открывай ворота, Волчий Пастырь!

Незапертые ворота с треском распахиваются, и кавалькада въезжает во двор.

-- Отрубить ему голову,-- звучит кваканье, а палец тычет в жениха, повалившегося ниц одним из первых.-- Действуй, Волчий Пастырь.

Тот, кого назвали Волчьим Пастырем, проворно соскакивает с коня, волочит не сопротивляющегося жениха к человеку-жабе, вытаскивает из ножен саблю...

Короткий свист.

Голова жениха летит под копыта жеребца, на котором восседает жаба.

Глазки с желтыми, нездоровыми белками пытливо рыщут по лицам гостей, задерживаются на одном, на другом...

Что-то меняется в жабьей морде, когда взгляд упирается в пару голубых озер на знакомом лице. И -- в такую же голубизну глаз другого человека, стоящего рядом.

Это не гости; это -- свои.

Оба спешились и стоят плечом к плечу.

-- Невесту -- на кол. Ты -- выполнять! -- жабий палец упирается в первого из двух

голубоглазых.

Смущенный великан переминается с ноги на ногу.

-- Ты уж прости, твое шахское, но это... не стану я!.. вот.

-- Что? Не станешь? -- противоестественная радость выхлестывается вместе с кваканьем.--

Забыл, каково самому на колу сидеть?! Освежить память?!

-- Не забыл! -- набычась, повторяет великан, крепче сжимая в руках-граблях огромное копье, больше смахивающее на дубину.-- Да только... За что ее? Ну, меня ладно, я плохой...

-- Утба! -- выплевывает чье-то имя жабий рот.

-- Здесь я,-- звучит ответ второго обладателя голубых глаз.

-- Обоих на кол! Выполнять!

Утба не двигается с места. И вдруг начинает хохотать. Безумно и искренне -- так, что стоящие рядом потихоньку отодвигаются в стороны, а морда человека-жабы меняет брезгливое выражение.

Она совсем меняется, эта морда.

От жабьей -- к человеческому лицу.

* * *

-- Что со мной? Где я? -- спрашивает Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, прежде чем потерять сознание.

Глава четырнадцатая,

где маг и правитель ведут мудрые беседы,

в ходе которых поднимается часть завес над:

шахами, фаррами, вседозволенностью и ее ограничениями,

а также обсуждаются внезапные смерти --
но ни словом не упоминается о том, в чем состоит загадка
“небоглазых”, будь они хоть жрецами, хоть разбойниками!

1

-- И что еще успела натворить эта жаба?!

Голос предательски дрожал, и пришлось отогреться ароматом красного чая -- поднеся к губам млечно-бледный фарфор пиалы, изготовленной в далеком Мэйлане. Мэйланьские драконы сладострастно вились вдоль краев, мэйланьские горы смыкались вокруг мэйланьского озера, зеленоватой глади с прожилками из чистого лазурита; и перевешивался через борт лодки плешивый рыбак, намеченный еле-еле, слабыми мазками; рыбак, естественно, был тоже мэйланьский. Страна на том конце торговой дороги Барра, где по уверениям Баркука-Харзийца, правят некие Сыновья Неба, которые вообще долгожители, даже по сравнению с местными носителями фарра!.. фарр... фарфор... камфара...фар-р-рсанг...

Горло поэта заржавело, и сейчас ржавчина осыпалась со стенок гортани, делая голос хриплым, а слова -- шершавыми, как обломки ракушечника.

Тем временем Гургин продолжил неторопливый рассказ: о перестановках во дворце и среди городских властей, о смещениях и назначениях судей, Владык Ночи и прочих чиновников, о фаворитках и фаворитах, что вынырнули невесть откуда или, наоборот, без причины подверглись опале; о реформе культа Огня Небесного и паломниках, сгинувших на просторах новой веры... Лишь о последней казни во время свадьбы дряхлый маг умолчал. Абу-т-Тайиб был благодарен ему за это -- во-первых, ни к чему ворошить грязь до самого доньшка, а во-вторых... Увы! -- он и сам помнил все: катится под конские копыта голова жениха, вокруг стенами вечной тюрьмы смыкаются

внимательные, сочувственные (но не осуждающие!!!) лица родственников, лица гостей, лица, лица... - и, наконец, двойное голубоглазое “Нет”! Комар, кузнечик, добыча, которую страстно алкал все эти месяцы человек-жаба, попалась наконец на язык; но сколь мерзок был вкус ее, неожиданной добычи, совсем не той, о какой мечталось!

Обижали в детстве жабу: мама-жаба обижала, бабка-жаба обижала, папа-жаба обижал, и родня над жабой ржала, жабью мерзость обнажала, словно в грудь ее вонзала сотню ядовитых жал... Жаба, что ж ты не сбежала? Никому тебя не жаль...

Абу-т-Тайиб так и не смог до конца осознать, что человеком с жабьей ухмылкой и буркалами навкате был он сам! То есть, умом, конечно, понимал -- но сердцем принимать отказывался. Наотрез. Да, истинный правоверный на вопрос: “Где находится разум?” должен благочестиво ответить: “Аллах бросает его в сердце, и лучи разума поднимаются в мозг, утверждаясь там!” Но вместо лучей из сердца поднималась смрадная гниль. Пепел сожженных хургских становищ, вонь потрохов казненных, липкая сладость улыбок тех, кого довелось осчастливить внезапной милостью; зловонная клоака вместо души, обиталище скорпионов и мокриц -- а над всем этим сияние фарра, святой нимб, видный издалека!..

Не лучше ли было спать высушенной мумией под песчаным мавзолеем? -- или это все-таки сон, страшный сон, где низкие становятся высокими, и нет кары безумней!

-- ...вот, собственно, мой шах, и все ваши основные деяния за последние три месяца!

Судя по выражению лица мага, деяния были явлением вполне обыденным и закономерным. Или хитрец с бородавкой кое о чем умолчал? Ну и ладно! Если он умолчал, а я не помню -- так тому и быть.

-- Деяния! -- усмешка наполнила рот горечью; захотелось плюнуть.-- Называй вещи своими именами, старец! Не бойся, я не отправлю тебя за это на кол, и не надену силой кулах с поясом. Я уже пришел в себя; хотя минута отречения заслуживает тысячи проклятий. Не хочешь? Забыл такие

слова, как мерзость, паскудство, бесчинство? Ну, отвечай: забыл?!

-- Деяния шаха -- это деяния шаха! -- упрямо поджал губы Гургин и, похоже, едва удержался, чтобы в очередной раз не почесать свою замечательную бородавку.-- Они не бывают достойными или недостойными. Шах вне добра и зла, света и тьмы, справедливости и сумасбродства. Он -- шах.

-- Еще скажи: бог! -- выкрикнул Абу-т-Тайиб, искренне надеясь, что Господь миров все-таки покарает своего раба за кощунство; и покарает немедленно.

В ад, в геенну, куда угодно...

-- Сказать? -- осведомился маг.-- Или мой шах не ждет ответа?

2

Они сидели во дворе Гургинова дома: если от угловой башни Аль-Кутуна свернуть направо, объезжая по широкой дуге ремесленный квартал Джаффар-ло, то вскоре подъедешь к воротам, за которыми и обитает мудрый хирбед, делатель владык. Обитает в свободное время от разных затей, достойных описания в “Тысяче сказок” -- ну зачем, зачем ты заставил меня выйти из проклятой пещеры Испытания?!

Или ты и впрямь не заставлял?

-- В чем ты состоишь, моя божественность?! -- издевательски рассмеялся поэт, загоня подлые мысли куда подальше.-- В том, что впереди дурака-балагура скачет баран и превращает в баранов всех моих подданных? В тупых, покорных баранов, готовых идти за вожаком на бойню, согласных перерезать глотку себе, своей матери, сестре, жене, ребенку -- стоит лишь шаху бровью повести?.. О Аллах, всемилостивый и милосердный, спасибо Тебе, что Ты не дал моим нечестивым мыслям свернуть в этом направлении раньше и проверить то, что сейчас произнес мой поганый рот! Ведь я мог... Еще день назад -- мог! Спасибо Тебе за Твою милость, Всемогущий!

Маг терпеливо ждал, пока шах закончит общаться с Господом, медленно прихлебывая чай из своей пиалы.

Ма-аленькими глоточками.

-- Дело не только в этом, мой шах,-- заговорил он, когда поэт умолк.-- Это лишь следствие, но не причина. Следствие того, что ты -- обладатель священного фарра, частицы Огня Небесного; или снизошедшей на тебя благодати Творца, если тебе так больше нравится!

Гургин явно увлекся, и теперь говорил почтительно, но без подобострастия; таким он нравился Абу-т-Тайибу гораздо больше.

-- Это его сияние согревает твоих подданных, побуждая их с радостью выполнять шахскую волю. Заметь, владыка: с радостью, с радостью и пониманием. Они ведь не глиняные идолы, оживленные мерзкой волшбой; они -- живые люди, со всеми добродетелями и пороками, присущими живым! Хочешь, я пролью бальзам на твою больную совесть? В последние месяцы ты, о мой шах, был не вполне собой. Ты был больше, чем ты есть, и меньше, чем ты есть... Ты был священный фарр-ла-Кабир во плоти.

-- Этот ореол... эта светящаяся гнилушка заставляла меня творить мерзости?!

-- Я этого не сказал, мой шах. Конечно, ты не был слепой марионеткой в невидимых руках фарр-ла-Кабир -- но... Такое происходит с каждым шахом. Сначала фарр перестраивает тело владыки, делая его более прочным, сильным и долговечным, нежели обычная плоть человек. Ты мог заметить это на себе: молодость вернулась к моему шаху, у тебя прорезались новые зубы взамен сгнивших старых, в руках добавилось силы, тебя вновь стали интересоваться женщины -- и даже когда-то отрубленные пальцы начали отрастать, подобно хвосту ящерицы. Я прав, владыка?

-- Да, все верно,-- Абу-т-Тайиб только что пролил себе на колени свой чай; к счастью, напиток уже успел остыть.

Горбун-слуга -- кажется, единственный слуга в доме Гургина -- решил приблизиться. На

подносе он тащил две пиалы побольше, до краев наполненные “белым супом”: кислое молоко, пряный творог, райхан, кинза, иная зелень, перец, соль...

Обычная закуска перед началом трапезы.

На блюде в углу подноса лежали фисташки и ломтики сушеных дынь: для аппетита.

-- Не забудь о спутниках владыки,-- бросил слуге Гургин.-- Они, небось, проголодались больше нашего, и вряд ли захотят начинать с супа!

С собой Абу-т-Тайиб взял всего двоих: Утбу и Дэва. Он больше никого не хотел видеть. И в первую очередь -- преданного Суришара. Все время мерещилось: человек-жаба приказывает... Нет. Думать об этом не хотелось.

-- ...А потом фарр-ла-Кабир принялся испытывать рассудок шаха,-- как ни в чем не бывало продолжил маг, кидая в рот сладкий ломтик.-- Его сердце, его душу: на что способен новый владыка? Сумеет ли быть жестоким и безжалостным, если придется? Хитрым? Изворотливым? Ведь государство не может колебаться и мучиться сомнениями, стоя на краю пропасти -- да не случится такого никогда!

-- Душу? -- с ужасом выдавил поэт.-- Испытывать?!

-- Не беспокойся, мой повелитель, душа твоя с тобой, и ничего ей не сделалось,-- Гургин едва заметно улыбнулся.-- Вы испытывали друг друга: ты, государство и фарр-ла-Кабир... и в то же время вы испытывали сами себя, будучи единым целым. Жестоко? -- не спорю. Но рождаться можно только так: в крови и нечистотах. Последнее Испытание завершилось -- ты его выдержал. Вновь став самим собой: шахом белостенного Кабира.

-- Утешил! -- прохрипел поэт, закашлялся и принялся молча хлебать “белый суп”.

Маг последовал его примеру.

-- Ну, допустим,-- буркнул через некоторое время Абу-т-Тайиб, успев покончить с супом и отчасти уняв разброд в мыслях (насколько это вообще представлялось возможным).-- Допустим,

мой собственный нимб, шайтан его заберу, испытывал меня. Испытал. Выяснил, что я гожусь для управления страной. Или для олицетворения этой страны. Как там говорил Баркук-Харзиец? “Твое государство -- это ты! Ты сам, собственной персоной...” Он прав, старец?

-- Воистину прав, мой шах! Мудры были слова султана...

-- И вот теперь Кабирское шахство сидит у тебя в гостях, пачкая бороду простоквашей и обрезками кинзы?!

-- И снова правота твоя неоспорима, о мой шах!

-- Я прав, Баркук прав...-- а кто лев?! Ладно, шучу... Тронусь я скоро с вами, маг ты мой замечательный, и вы все тронетесь со мной -- если, конечно, правота наша и впрямь неоспорима! Ладно, это потом,-- шах разговаривал сам собой, и старый хирбед не осмеливался прерывать владыку.-- Но ответь: почему же тогда фарр-ла-Кабир, баран золотой, терпел мои выходки?! Ведь это же во вред государству -- наказать невинного, унижить знатного и возвысить безродного, назначить казначеем проходимца, а Владыкой Ночи -- бывшего душегуба?! Куда ж баран смотрел, а, старец?! Я своими руками укладывал державу в гроб-табут, а значит -- и себя самого, носителя фарра! Что-то тут у тебя не сходится, маг!

И Абу-т-Тайиб победно усмехнулся, глядя на Гургина в упор: мол, подловил я таки тебя, старый брехун!

-- Здесь нет никакого противоречия, мой шах,-- серьезно ответил маг, отставив пиалу.-- С того момента, как назначенный тобой избранник принимает из твоих рук кулах и пояс, он становится верным слугой шаха и фарр-ла-Кабир. Верным не за страх, а за совесть. Отблеск благодати фарра ложится на него, подобно отсвету Огня Небесного, сияющего над нами, и человек этот начинает исполнять возложенные на него обязанности с должным тщанием. Это может получаться у него лучше или хуже, в зависимости от умений, навыков, опыта и природных склонностей -- но он будет честно стараться выполнить свою работу! Даже если глупый судья неверно рассудит какую-

либо тяжбу, или нечистый на руку казначей украдет кисет динаров -- от этого ведь государство не рассыплется? Дикхане не перестанут сеять рис или просо, а затем снимать с полей урожай; стражники будут по-прежнему нести свою службу, купцы -- торговать, налоги -- так или иначе поступать в казну... Там, откуда ты пришел, иначе? Там нет воров-казначеев, а если есть, то державное здание мигом рушится? Там владыки не украшают колья невиновными; а когда украшают, то шатается их трон?! Горы ведь стоят, несмотря на то, что часть их плоти выветривается! И даже не качнутся...

-- Значит, я могу творить все, что мне заблагорассудится -- и на государство это никак не повлияет?!

-- Воистину так, мой шах! Ты можешь казнить и миловать, смещать и назначать, требовать для себя любых мыслимых и немыслимых удовольствий или ходить в рубище, питаюсь хлебом и водой -- это твое личное дело. Пока тело шаха здорово, а разум ясен, с государством ничего не произойдет. Ведь государство -- это ты! -- как исключительно верно заметил владыка Харзы!

Владыка Харзы... что-то такое он говорил, этот скучающий восьмидесятичетырехлетний султан, выглядевший моложе пятидесятилетнего шаха Кабира... что-то...

-- Что угодно? А если я, к примеру, из шаха захочу сделаться шахин-шахом?

Гургин поперхнулся супом.

А сердце поэта гулко ударило в груди.

3

-- Прошу тебя, владыка, оставь такие шутки,-- заискивающе попросил маг.-- Хорошо?

-- А почему бы владыке и не пошутить? -- в притворном удивлении Абу-т-Тайиб изогнул левую бровь луком.-- Или скажем иначе: а вдруг владыка и не думал шутить? Может, ему снится по

ночам венец царя царей? А? Ты побледнел, Гургин? Тебе плохо? Я говорю запретное, да? Значит, все-таки не все дозволено шаху? Чего-то и ему нельзя? Фарр-ла-Кабир не позволит -- или есть причина попроще? Ну, говори! Язык проглотил?

-- Фарр-ла-Кабир,-- чуть слышно прошептал Гургин.

-- Хорошо. Я тебе верю, старик. А теперь -- рассказывай, каким образом вознамерился стать шахин-шахом мой предшественник, Кей-Кобад, и отчего он в итоге умер?

Гургин с трудом перевел дух, прокашлялся и заговорил.

-- Кей-Кобад действительно вознамерился стать шахин-шахом, владыка. Для этого он задумал... вернее, ему подсказали следующее: разбить кабирское шахство на четыре больших удела, каждый из которых будет пограничным. Затем наместников-марзбанов этих уделов должны были провозгласить шахами, а их повелителя Кей-Кобада -- соответственно шахин-шахом, царем царей, как верно заметил мой повелитель.

-- Ловко. Но глупо,-- усмехнулся Абу-т-Тайиб, впервые в жизни сталкиваясь со столь странным способом расширения власти.-- Какой же это умник ему сию чушь присоветовал? Уж наверняка не ты, мой благоразумный Гургин! Ладно... Значит, мой предшественник решил уподобиться он-баши, которого производят в юз-баши -- но командовать он продолжает все тем же десятком. Зато звучит куда величественнее: сотник! Или шахин-шах. И какую цель он преследовал, мой предшественник? Просто гордыню потешить хотел? Вряд ли...

-- Воистину, прозорливость владыки не имеет границ,-- пробулькал маг, неприятно напомнив былую жабу.-- Разумеется, доподлинно теперь никто не знает, что именно собирался предпринять Кей-Кобад. Однако же, с определенной достоверностью можно предположить, что предшественник теперешнего владыки готовился расширить пределы Кабирского шахства!

-- Ну да! -- чуть не подпрыгнул Абу-т-Тайиб.-- Султан Баркук убеждал меня, что у вас это дело невозможно; и даже любезно объяснил, почему! А теперь ты утверждаешь...

Шах умолк, выжидательно глядя на своего советника.

-- Султан Баркук не лгал тебе, мой шах! Он просто опустил единственный случай, когда завоевания все же возможны. Если фARR правителя, захватывающего земли соседа... как бы это поточнее сказать?.. ярче и горячее, нежели фARR соседа. Да будет мне позволено взять пример, приведенный моим шахом: как сотник выше десятника!

-- Как шахин-шах выше шаха,-- задумчиво пробормотал поэт.-- Что ж, не так уж глупо, как может показаться на первый взгляд. Сшить халат с запасом, затем начать толстеть... И что помешало Кей-Кобаду осуществить замысел?

-- Смерть,-- коротко ответил Гургин. И, взглянув на поэта, явно ждущего продолжения, пояснил:

-- Видимо, фARR Кей-Кобада оказался под угрозой из-за шахского замысла. Все живое хочет жить: во имя сохранности державы фARR убил своего носителя.

И Кей-Бахраму, наследнику хитроумного Кей-Кобада, достался многозначительный взгляд. Поэт долго сидел, задумавшись.

-- Ладно, пошли спать,-- пришел он наконец к вполне логичному выводу.

Глава пятнадцатая,
обильная плодами поэтического воображения,
явлениями призраков и битвами героев,
но втайне мечтающая о совсем ином:
где вы, описания превосходных ковров,
ласковых, пышных, нарядных, с затейливым рисунком,
с яркими красками -- где же вы, сии перлы?!

...Ночи плащ, луной заплата, вскользь струится по халату, с сада мрак взимает плату скорбной тишиной -- в нетерпении, в смятении меж деревьев бродят тени, и увенчано растение бабочкой ночной... Что нам снится? Что нам мнится? Грезы смутной вереницей проплывают по страницам книги бытия, чтобы в будущем продлиться, запрокидывая лица к ослепительным жар-птицам... До чего смешно! -- сны считая просто снами, в мире, созданном не нами, гордо называть лгунами тех, кто не ослеп, кто впивает чуждый опыт, ловит отдаленный топот, кто с очей смывает копоть, видя свет иной!..

Ива, наемная плакальщица, скорбно встряхивала ветвями; и кутался в темный плащ сафеддор, белый тополь, боясь поддаться на уговоры ветра, бесстыже плеснуть траурной мантией, обнажив серебристую подкладку.

Дувал обступал двор со всех сторон, верблюжьими горбами выпятившись к драгоценной канители небес, осыпая с гребня своего репейник и колючую траву, придавленные плоскими камнями -- зимние дожди спотыкались об этот своеобразный заслон, не рискуя размывать глину. Все-таки правильно было заночевать у Гургина, вместо того, чтобы возвращаться во дворец, где каждая стена напоминает тебе о проклятии шахского венца!.. правильно. Правильно было выйти во двор, покинув духоту спящего дома, выйти одному, без свидетелей, спутников, без телохранителей, без ничего, с нагой душой, открытой всем ветрам! Сесть в зыбкой тени аргавана, который люди Евангелия называют иудиным деревом, сесть на сколоченной из досок софе, опуститься на грубый палас поверх циновок из резаного камыша... забыться в тишине.

Глупо надеяться, что вывезет кривая, что выжмешь звук из треснувшего дутара! Тени оживают и, оживая, начинают делиться на молодых и старых... вон еще одна скользит во тьме.

Женщина. Кажется, женщина. Течет, струится, вот она у двери из грушевого дерева, вот, не брякнув кольцом, внутри... Госпожа Вторник, покровительница прях. Кому еще марой бродить по дворам, заглядывать в дома, в лица сонных обитателей? -- не блудница же явилась к хирбеду по тайному зову! Прости, добрая госпожа Вторник, здесь тебе не сыскать достойных награды, здесь лишь спит дряхлый маг, прикорнул у порога его слуга-лентяй, да еще храпят вовсю в “верхней комнате” лихой Утба с могучим Дэвом; и еще здесь, во дворе, не спит шах Кей-Бахрам... Эй, Бахрам небесный, Пламень-в-Красном-Шлеме, чего уставился на меня, будто не я, а ты трижды проклят Аллахом?!

Ну ладно, смотри, пока со стыда не сгоришь.

...Пес под тополем зевает, крыса шастает в подвале, старый голубь на дувале бредит вышиной -- крыса, тополь, пес и птица, вы хотите прекратиться? Вы хотите превратиться, стать на время мной?! Поступиться вольным духом, чутким ухом, тощим брюхом? На софе тепло и сухо, скучно на софе, в кисее из лунной пыли... Нас убили и забыли, мы когда-то уже были целой страной, голубями, тополями, водоемами, полями, в синем небе журавлями, иволгой в руке, неподкованным копытом... Отгорожено, забыто, накрест досками забито, скрыто за стеной.

Тень госпожи Вторник легко движется по айвану -- открытая веранда сама ложится под ноги призрака, огибает гостью резными колоннами, осторожно нависает ошкуренным тополем стропил... Эй, покровительница прях, ты еще надеешься обнаружить здесь умелую мастерицу? А бывший поэт тебя не устроит? -- я тоже когда-то умел играть с куделью слов, когда меня не обступали стены, через плечо заглядывая по-соседски... Эй, тени, сюда! Не стесняйтесь, тени! Я так давно с вами не беседовал...

Госпожа Вторник беззвучно взлетает по шаткой лестнице на крышу -- туда, где окнами на улицу размещена бала-хана, “верхняя комната”, подпертая с наружной стороны косыми сваями.

Улыбка течет по губам медовой патокой -- до чего ж упрямы эти призраки-покровители, все ищут, рыщут... Небось, жила тыщу лет назад такая пряха, что и после смерти угомониться не может: сестер-руководельниц выискивает, целует стертые пальцы, кладет на веки по пушинке -- от слепоты, а то ведь бывало: после иной работы свету в глазах изрядно убавлялось! Аргаван осыпает стручки -- на голову, на грубый палас, на землю, и кажется, что в мире не осталось больше ничего, совсем ничего, и с утра мало что изменится...

...Жизнь в ночи проходит мимо, вьется сизой струйкой дыма, горизонт неутомимо красит рыжей хной... Мимо, путником незрячим сквозь пустыни снег горячий, и вдали мираж маячит дивной пеленой: золотой венец удачи -- титул шаха, не иначе! Призрак зазывалой скачет: эй, слепец, сюда! Получи с медяшки сдачу, получи динар впридачу, получи... и тихо плачет кто-то за спиной. Ночь смеется за порогом: будь ты шахом, будь ты Богом -- неудачнику итогом будет хвост свиной, завитушка мерзкой плоти! Вы сгниете, все сгниете, вы блудите, лжете, пьете... Жизнь. Насмешка. Ночь.

-- Эй, красавица, ты случаем не меня ищешь?!

И смех.

Это Утба. Проснулся. К маре цепляется. Такому что госпожа Вторник, что святая пятница, что песчаная алмасты -- была бы мякоть, чтоб ухватиться, да раковина для тайной жемчужины. Дикий осел весной, и тот Утбе позавидует... Вот сейчас разбудит Дэва, тот ему по шее накостыляет, чтоб не орал!.. Дэв у нас молоденький, ему здоровый сон важней любой бабы на свете, а о лепешке с мясным фаршем и говорить нечего -- за кусок удавит. Дэв молодчина, странно, что не просыпается... Кусты громоздятся размытыми валунами, ветки сафеддора на ветер ропщут -- когда привыкаешь общаться с тенями, с людьми становится значительно проще... Сидишь на софе, наблюдаешь: никому до тебя

дела нет, и тебе ни до кого нет!

-- Эй, кра...

Смех усиливается, звенит бубном-дойрой, в нем проскальзывают странные нотки -- не на ложе смеяться таким смехом, а в бою, в самом пекле, но велик ли спрос с Утбы Абу-Язана, особенно в отношении его удивительной веселой души?!

Что-то лязгает в бала-хане, лязгает глухо, на грани слышимости, и почти сразу ночь рвется пополам коротким треском -- будто мертвая ветка акации наконец решила свести счеты с этим миром. Трещит, падает, ударяется об пол цельным стволом, и эхо испуганным вором мечется по всему дому, заставляя в ответ дребезжать утварь, а кольцо в двери -- колотиться о доски, возвещая о прибытии незваного гостя.

Рев оглушает на миг, забивая уши тополиным пухом. Он рушится сверху, с небес, рев хмурого горного великана, в пещеру которого забрались мелкорослые воры, да вдобавок еще и нагло сожрали все запасы сыра! -- а теперь он раздваивается, этот утробный рык, как раздваиваются голоса опытных певцов, чтобы слиться воедино разным напевом... Дверца “верхней комнаты” слетает с петель и, заячьей скидкой просакавав по крыше, рушится во двор; щепки сыпятся градом, одна из них больно впивается в бедро, и боль отрезвляет.

Что происходит?!

Два тела выкатываются из бала-ханы, двое страшных любовников, стремящихся к последнему экстазу; на миг зависнув у края, они валятся вниз следом за выбитой дверью, и даже страшный удар о край дворового арыка не заставляет их ослабить хватку. Дно арыка красно от водорослей, и там, в мутной жиже, копошатся два зверя, два охотника, ни один из которых не желает признать себя добычей.

-- Твое... твоё шахское! Беги! Бе...

Огромная тень госпожи Вторник взмывает вверх, правая рука ее уродливо толстая, словно

к предплечью приникла змея с отогнутым в сторону кончиком хвоста; рука падает вниз, и крик обрывается, чтобы миг спустя поползти стоном:

-- Беги... твое шах...

Прыжок.

Прямо с паласа, с камышовых циновок, с дощатой софы, из покоя и усталости. Арык принимает шаха в липкие объятия, но и госпожа Вторник не удержалась на ногах: внизу хрипло стонет Дэв, и это хорошо, раз стонет, значит, жив, а пальцы призрака ищут горла, ищут самозабвенно, истово, мокрыми червями роясь в бороде -- размахнуться не удается, и приходится бить коротко, всем весом, на слух, локтями, коленями, пока убийца не перестает содрогаться под этими ударами.

Тишина.

-- Т-твое... она Утбу... кончила...

Смех.

Страшный смех звучит с крыши, от рваного проема дверей бала-ханы.

Там стоит на коленях Утба Абу-Язан, безуспешно пытаюсь встать, отсвечивая фиолетовым пузырем вместо левой половины лица -- но "Улыбка Вечности" намертво зажата в его руках.

Полудохлый пес готов грызть.

2

-- Да что тут мудрить, твое шахское?! Где мое копьце? -- я ее, тварюку, сам в Восьмой ад Хракуташа отправлю!

Косой взгляд через плечо -- даже не взгляд, а так, намек, и Дэв, избитый, изломанный, но непокоренный Дэв замолкает.

На софе Гургин возится с пострадавшим Утбой: хвала Аллаху, лицевые кости целы, и быть вскорости хургу прежним красавцем! А гул в башке -- не червь в кишке, погудит и стихнет, чему там трястись-трескаться, когда отродясь никакого добра не водилось... Лекаря престарелый хирбед отказался звать наотрез, и Абу-т-Тайиб до сих пор смаковал это открытое неповиновение “небоглазого”.

Да еще вертел в руках странную штуку, оружие госпожи Вторник: кинжал не кинжал, напильник не напильник -- прямой граненый брусок вместо клинка, а чудная гарда-лепесток отогнута в сторону и продлена вдоль тупых граней.

Таким убить -- это еще очень постараться надо...

Впрочем, на отсутствие старания жаловаться было грешно. Ребра болели до сих пор, дышать приходилось вполгруды, и оставалось лишь удивляться отсутствию серьезных переломов. Славно повозились в арыке, ах, славно! -- будто десятка два годков с плеч скинули...

-- Эй, твое шахское! Она опять ремни грызет... у-у, стерва!

За спиной, на крыше, Гургинов слуга возился с выбитой дверью бала-ханы. Стучал молотом, звякал клещами -- на место ставил. Со стороны улицы доносились вопли добровольных подсказчиков. Ясное дело, всякий знает, как лучше, особенно когда язык чешется... В ворота подсказчики не ломились; да и городские стражники явиться поостереглись. То ли прыткая весть о шахе-госте успела доскакать до нужных ушей, то ли над фарр-ла-Кабир, как над вестовым костром, с недавнего времени подымался столб дыма до небес: здесь я, люди добрые, кыш подале!

А может, дом Гургина испокон веку пользовался дурной славой, и всем было известно, что сюда ломиться -- себе дороже.

Вздохнув, Абу-т-Тайиб повернулся к госпоже Вторник.

И долго смотрел, не отводя взгляда; хотя видит Господь миров, зажмуриться ему сейчас хотелось больше всего.

-- Когда настанет Великое Событие, кого-то возвысят, кого-то унижат,-- слова Книги Очевидности сами поползли с языка дождевыми червями, и святотатственный образ вдруг показался единственно верным.-- Когда земля содрогнется, будет вас три вида...

-- Что? -- поднял голову Гургин, заканчивая перевязку; и еле слышно засмеялся Утба, усмотрев в вопросе мага нечто свое, достойное веселья.-- Ты сказал: три вида, мой шах?!

-- Но сколь же тяжко несчастным, которых поразило несчастье! Им место в пламенном огне и кипящей воде, во мгле темной и черном дыме, который ни приятен, ни красив. Будете вкушать вы горькие плоды древа зеккум; будете пить, как жаждущие верблюды. Мы судили, чтобы между вами царила смерть, а мощь наша велика, и да будет так!

“Мы судили...” -- шепнули бескровные губы мага.

“...а мощь наша велика,” -- истово кивнул Дэв.

“Да будет так!” -- не произнеся ни слова, подвел итог веселый Утба, на миг став серьезным.

-- Скажут несчастные избранным: “Погодите, чтоб мы немного взяли от света вашего!” И ответят им: “Возвратитесь и ищите себе свет.” И тогда воздвигнется между ними стена, внутри будет милость, снаружи ее -- страдание. И кричать будут те, что снаружи: “Разве не были мы с вами?!”

Абу-т-Тайиб еще раз повторил:

-- Разве не были мы с вами?!

И присел на корточки перед госпожой Вторник.

Вислые плечи бугрятся узлами мышц, и сила эта, чуждая мощь, вынуждает сутулиться, плотнее вжимать костистый затылок, а нежно-розовые бурдюки груди тяжко болтаются из стороны в сторону. Руки жиливатые, как у незабвенного Омара Резчика, только раза в два толще, с неприятно большими ладонями. Кривые ноги подогнуты под себя -- словно обезьяну учили правильно сидеть на кошме, да так и недоучили. Лохмотья висят, как на огородном чучеле, и видно меж прорехами:

тело густо покрыто рыжей шерстью, местами свалывшейся в липкие колтуны. Голени ободраны, и бока ободраны, и еще правая щека; лиловые кровоподтеки украшают те места, куда пришились локти и колени разъяренного шаха, и дыхание вырывается с болезненным присвистом -- нет-нет, да и стон слетит с губ, вывороченных губ дикого зинджа.

Узкий вал лба сильно подался вперед, нависая над переносицей, уже начавшей мало-помалу проваливаться сама в себя, безобразно выпятив снизу кабаньи ноздри. Височные кости утолщены, торчат странными наростами, будто грозя обратиться в скором времени бараньими рогами; желваки на скулах катаются. И лишь в глубоко запавших глазках, в двух заброшенных колодцах, налитых дурной кровью -- лишь там плещет еще знакомая дерзость, неукротимая голубизна былой Нахид-хирбеди.

Больно всматриваться.

Разве не были мы с вами?!

3

-- Нахид-хирбеди больше нет, мой шах. Мы отлучили ее от служения еще в тот день, когда Омар Резчик потерял руку от твоего ятагана. Она сошла с ума; она требовала невозможного. Нахид-хирбеди больше нет, мой шах; есть Нахид-дэви, женщина-чудовище. И я взыщу с храмовых стражей строгим взысканием: они не имели права проморгать бегство этого... существа.

-- Невозможного? Чего именно требовала она?

-- Исправить ошибку; вернее, то, что она полагала ошибкой. Провести тайное Испытание и помазать на престол нового шаха. Не безумие ли: два солнца на одном небе могут привести к концу света, но к благоденствию они вряд ли приведут!

-- Два солнца...

-- Да, мой шах! Я пытался уговорить ее отказаться от еретических замыслов, но Нахид упорствовала. Жаль: я любил ее больше, чем отец -- младшую дочь, дитя его старости.

-- И ты обратил ее в дикую тварь?

-- Я?! Обратил?! Насильно сделать человека дэвом выше сил смертного, мой шах! Можно лишь самому вступить на порочную стезю... Это был ее выбор, и только ее -- поэтому я велел следить за бывшей хирбеди, и едва мне донесли о первых изменениях, приказал взять ее под стражу. Увы, нынешней ночью она бежала...

-- Ты врешь, маг! Я чувю колдовство!

-- Тогда посмотри на спасенного тобой разбойника, мой шах. Не найдешь ли сходства? Один удар Нахид-дэви опрокинул Утбу, бойца из бойцов, в беспамятство; но твой Дэв сражался с ней на равных дольше, чем сумел бы любой человек!

-- И опять ты лжешь! Я бился с ней, и победа осталась за мной, за человеком!

-- Я не лгу тебе, мой шах. Просто ты тоже не человек... уже не человек. Ты -- живое воплощение фарр-ла-Кабир. Ударь кулаком по столу -- стол треснет. Возьмись с любым пахлаваном за пояса -- долго ли продержится борец против тебя? Я, например, умру от одной твоей оплеухи. Раскрой глаза, мой шах, и ты увидишь...

-- Но мой юз-баши не превратился в чудовище! Да, он тугоумен, да, простоват... и похож, похож, ты прав! Но мало ли таких же плосколобых великанов на белом свете?

-- Немало, мой шах. В основном, они живут в Мазандеране, Краю Дэвов, куда стекаются отовсюду -- если, конечно, не погибнут в пути. А твой юз-баши... Он всегда при тебе, всегда рядом, а близкое присутствие носителя фарра сдерживает окончательное превращение человека в дэва. Не останавливает, но сдерживает. Иначе быть бы уже Дэву... впрочем, нет худа без добра. Думаю, в таком случае он с легкостью разорвал бы бешеную самку в клочья.

-- Самку?!

-- Я говорю о Нахид-дэви.

-- Врешь! Ты должен был сказать не “превращение человека в дэва”! Превращение “небоглазого” в дэва! Я прав?!

-- Прости, мой шах, и дозволю затворить уста. Власть шаха безгранична, а я -- твой советник... Но еще я -- верховный хирбед; я -- “небоглазый”. И не вправе произносить вслух запретное. Замечу лишь, что Утба Абу-Язан, подаренный тебе султаном Баркуком, тоже “небоглазый”; но он -- человек. Хотя и смеется чаще обычного, получив из рук султана знаки служения; хотя и безумен в битве. Видишь, ты был прав, вняв моим уговорам и не надев на глупого Гургина кулах вазирга! Поверь, мой шах, я и так сказал тебе гораздо больше, чем следовало бы...

-- Тогда хотя бы ответь мне, что это за странный кинжал приволокла с собой твоя бывшая ученица? Или здесь тоже сокрыта тайна за семью печатями?

-- Ничуть, мой шах. Хирбедам запрещено проливать кровь, но защищать свою жизнь в случае необходимости дозволено каждому. В Мэйлане это оружие зовут -- дзютгэ. Одно из значений: “Десять Рук”. Им можно закрыться от удара чужого клинка, можно... ну, Утба способен лучше меня рассказать, что можно им сделать -- ведь это его нож был сломан “Десятью Руками”, и его лицо пострадало от столкновения. Думаю, Нахид-дэви отобрала дзютгэ у одного из храмовых стражей; или украла в кладовке. Еще один промах, мой шах, и поверь: виновные понесут строгое наказание! Хвала небу, что в храме не хранилось более опасного оружия...

-- Хвалы будешь возносить потом. Слышишь меня?.. ладно, не спеши падать ниц. Гургин, ответь хотя бы: есть ли способ вернуть Нахид прежний облик?!

-- Трудно сказать, мой шах. Во всяком случае, я такого способа не знаю. Мазандеран, Край Дэвов, хранит множество тайн -- среди них, возможно, нашелся бы если не способ, то хотя бы совет... А я знаю лишь одно: находясь рядом с тобой, Нахид-дэви будет катиться в пропасть медленнее, гораздо медленнее; но находясь рядом с предметом ее ненависти, она будет катиться в пропасть

быстрее, гораздо быстрее! Эти два коня разорвут ее вместо того, чтоб вывезти в безопасное место!
Это все, что я знаю; и все, что могу сказать тебе. Прости, мой шах.

-- Прощаю.

4

...я посмотрел в лицо дряхлого мага и увидел: губы его трясутся, а блеклая голубизна взгляда подтекает летним дождем.

Слепым дождем.

Потом я посмотрел на аргаван. Под иудиным деревом сидел Златой Овен и скалился мне в лицо.

-- Вы даете мне то, чего я не хочу,-- сказал я им: барану, магу, Нахид-дэви, слуге на крыше, небу над крышей и солнцу в небе.-- А в том, чего хочу, отказываете. Спасибо, не стоит трудиться, благодетели...

Я улыбнулся и закончил:

-- Я возьму сам.

* * *

Нет мудрости в глупце? И не ищи.

Начала нет в конце? И не ищи.

Те, кто искал, изрядно наследили,

А от тебя следов и не ищи...